

Жан Лоррен



ПРИНЦЕССЫ ЛАСК
И УПОЕИЯ



Salamandra P.V.V.

**ЖАН
ЛОРРЕН**

ПРИНЦЕССЫ ЛАСК И УПОЕНИЯ

Собрание сочинений
Том II

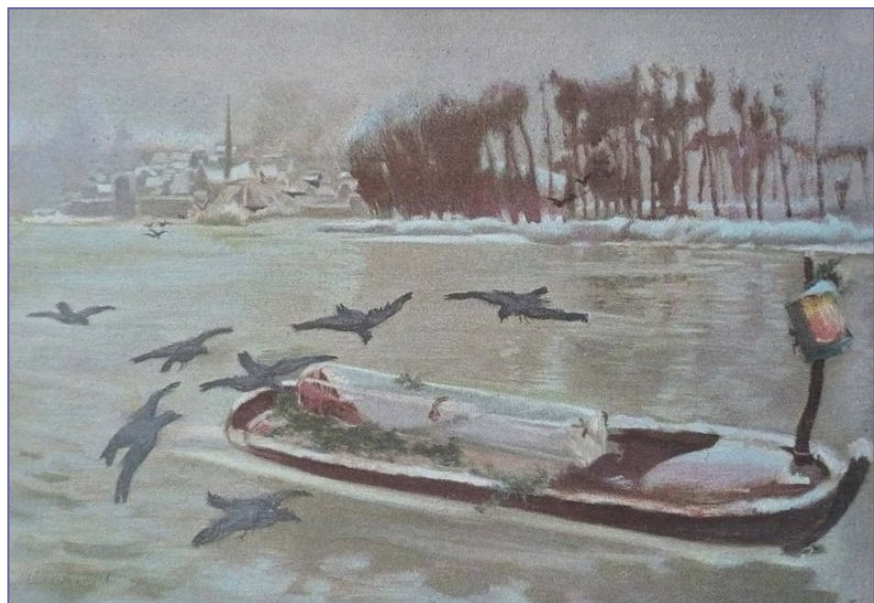
Salamandra P.V.V.

Лоррен Ж.

Принцессы ласк и упоения. Пер. с франц. К. Жихаревой. Илл. М. Орази и др. С прил. статьи Р. де Гурмона. – (Собрание сочинений, том II). – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 218 с., илл.

«Принцессы ласк и упоения» Жана Лоррена (1902) – составленный самим автором сборник его лучших фантастических рассказов и «жестоких сказок», рисующих волшебный мир, отравленный меланхолией, насилием и болезненным сладострастием.

Ж. Лоррен (1855-1906) – поэт, писатель, самозванный денди, развратник, скандалист, эфироман и летописец Парижа «прекрасной эпохи» – был едва ли не самым одиозным французским декадентом. По словам фантаста, переводчика и исследователя декаданса Б. Стэблфорда, «никто другой таким непосредственным и роковым образом не воплотил в себе всю абсурдность и помпезность, все парадоксы и извращения декадентского стиля и образа жизни». Произведения Лоррена долгие годы не издавались на русском языке, и настоящее собрание является первым значимым изданием с дореволюционных времен.



ПРИНЦЕССЫ ЛАСК И УПОЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

СКАЗКИ

Как отратно, в дождливую декабрьскую погоду, когда подурневшие от холода прохожие торопливо бегут, сталкиваясь на углах панелей, а резкий северный ветер, как разъяренная кошка, бросается на запоздавших оборванцев, уныло плетущихся по твердым камням дорог, — как отратно было бы вновь пережить прошлое, вновь стать ребенком и, съездившись у тлеющего камина, в тепле уютных комнат, дать отдохнуть утомленным жизнью глазам, освежив их чарующей прелестью старых книг с картинками, которые когда-то, — давно-давно, — дарились нам, и как сладко было бы вновь уметь поверить в сказки!..

Волшебные сказки, замененные теперь описаниями путешествий и научных открытий, чудесные истории, обращавшиеся к сердцу через посредство воображения и располагавшие к состраданию искусно возбуждаемой жалостью к химерическим принцессам, преисполняли восторгом мою трепетную и очарованную детскую душу, и первые годы моей жизни протекали в царстве феерии и мечты. Как горячо жалею я детей теперешнего поколения, которые читают Жюль Верна вместо Перро и Фламариона, вместо Андерсена! Практичные родители этой детворы не знают, какую юность они готовят этим будущим велосипедистам. Нет ни одной сколько-нибудь тонкой эмоции, в основе которой не лежала бы любовь к чудесному: душа пейзажа таится целиком в более или менее населенной образами памяти путешественника, и для того, кто не желает и вместе не боится увидеть на опушке леса Ориану, Титанию среди цветущих дроков и Мелузину у ручья, нет ни гор, ни лесов, ни пробуждения зари на ледниках, ни сумерек над прудами.

Может ли человек, не знающий Гомера, Феокрита и Софокла, действительно стремиться в Грецию и Сицилию? И разве для того, чтобы любить Средиземное море, эту огромную чашу расплавленного сапфира, той утонченной любовью, какую питал к нему Поль Арен, не нужно слышать еще

кое-что, помимо пения цикад вокруг разбросанных среди оливковых рощ хибарок, да криков провансальских моряков на реях? Чарующую прелесть Неаполитанскому заливу придает воспоминание о Партенопе, и если на берега Средиземного моря каждую зиму является столько скептиков и равнодушных, то это потому, что прозрачная лазурь его волн в былые дни баюкала и нежила опутанную водорослями перламутровую наготу сирен.

Итак, надо любить сказки, откуда бы они ни являлись к нам, из Греции или Норвегии, из Швабии или Испании, из Бретани или с Востока. Это цветущие миндальные деревья юного воображения: ветер унесет лепестки, жизнь развеет грезу, но что-то останется, и это что-то принесет плод, который будет благоухать всю осень. Кто не верил ребенком, не будет мечтать, став юношей; и нужно позаботиться о том, чтобы еще на пороге жизни запастись мягкими коврами из прекрасных грез, которые украсят наше жилище при наступлении зимы; а сладкие мечты, даже и поблекнув, пышным узором расцветят нам унылый декабрь.

Надо любить сказки, надо питаться и опьяняться ими, как неопасным легким вином, терпкий букет которого, с мнимым привкусом сладости, не улетучивается, а остается, лаская вкус и туманя голову, и этот-то букет по окончании пира удерживает иногда пресытившегося гостя за столом.

Признаюсь, лично я питал к этим ныне отвергнутым и презируемым сказкам чувство страстного обожания. То были туманные сказки, напоенные лунным сиянием и дождем, усыпанные хлопьями снега, — сказки Севера, так как я лишь в поздние годы жизни познал волшебство южного солнца.

На берегу неутомонного серо-зеленого океана, вечно изрезанного пенистыми гребнями волн, в осаждаемом западными ветрами маленьком прибрежном городке, провел я все свое детство. Начиная с ноября, непрестанно налетали шквалы и бури, а по ночам море тяжелыми валами перекатывалось через рез молы, зловеще завывая, как гигантские совы. Сказки, которые нам рассказывали бородатые моряки в высоких мокрых сапогах, доходивших до половины бедра, как и они, были пропитаны запахом тумана, та-

лого снега, дегтя и моря. В них больше говорилось о ночах, чем об утренних зорях, о кораблекрушениях при лунном свете, чем о веселых кавалькадах в румяные утра. Но я любил их грусть, сквозь которую пробивалась несколько наивная вера в чудесное, дышащая надеждой и отчаянием, любил эту поэзию простой души, страшившейся слепой силы стихий, но смягченной тоской по родине и обретающей бодрость в неослабной вере в возвращение.

Эти жуткие сказки, действующие лица которых всю ночь скакали по оконным занавескам моей комнаты, ознаменовывали прибытие в гавань ньюфаундлендцев, возвращение в семью мужей, отцов и братьев, и в городке наступало ликование. То был момент вечерних посиделок, хождений из дома в дом по плохо освещенным улицам, время сборищ у камелька вокруг чаш с горячим сидром, молодым сидром, который пили с корицей, объедаясь каштанами. И сколько чудесных историй рассказывалось на этих сборищах!

У нас они происходили на кухне. У кухарки всегда был муж или сын на Ньюфаундленде, у горничной — родной или двоюродный брат, а то и жених в Исландии, и среди городской буржуазии установился обычай разрешать родственникам служанок приходить к ним по вечерам в первый месяц их пребывания на суше, — льгота, по совести, не чрезмерная, потому что бедняги проводили в море девять месяцев, и многим было суждено не вернуться.

В гостиной принимали капитана судна, компаньона-судовладельца, директоров страховых обществ, приезжавших по случаю какой-нибудь аварии, и в то время, как мужчины разговаривали, хорошенькая ручка с золотой цепочкой у кисти небрежно перелистывала иллюстрированные страницы волшебных сказок, и нежный женский голос объяснял нам картинки: приближался Новый год и время подарков. Но гораздо больше переплетенных и золотообрезных книг, гораздо больше их великолепных картинок любил я таинственные истории, что рассказывали на кухне, среди дрожащих от страха служанок, суровые люди в фуфайках и беретах. Их истории казались мне гораздо более правдивыми, проникнутыми более яркой и вместе причудливой

фантазией, и среди этих матросских рассказов особенно мне нравился один, — тоскливая и трепетная северная сказка, которую я нашел впоследствии у Андерсена, но которая в устах этих суровых ньюфаундлендцев приобретала страстную силу и яркость виденного и пережитого, потому что, несомненно, они встречались с нею в бурном море, во время своих опасных плаваний, — с этой бледной Царицей Снегов, воспоминание о которой до сих пор преследует меня.

Ах, эта Царица Снегов, облитая громадным заревом своего пустынного вечного дворца! Как я любил и боялся ее, эту окаменелую, погруженную в летаргию царицу белых пчел, эту царственную деву бледных полярных пространств! Как я любил эту недвижимую странницу, парящую в небе в длинные, светлые зимние ночи! Царицу Снегов в призрачных туманных санях!

Испуганное воображение мое видело, как она проносится, бесстрастная, высоко в небе, среди белого вихря пушистых пчел; огромные черные вороны летают вокруг нее, каркая от холода и голода; длинная мантия из лунных лучей струится с плеч ее, развеваясь по ветру и теряясь во мраке. Я знал, что это она в сильные морозы рисовала на оконных стеклах большие причудливые цветы и деревья из инея, и в полночь всегда боялся увидеть у своего окна ее потухшие глаза и лучезарное чело, потому что со вниманием слушал сказку и знал, что, когда Царица Снегов смотрит на человека, душа ее далеко, и глаза ее не видят его: она там, далеко, за Ледовитым океаном, среди полярных льдов, за морями и проливами,

Во дворце из вечных снегов,
Где таятся грядущие зимы.

Потом, подростком, я стал интересоваться сказками о принцессах, во мне проснулось любопытство и любовь, набожная, немножко боязливая любовь мальчика из церковного хора к Мадонне, нечто вроде благоговейного обожания.

Ведь они были так похожи на Девственную Матерь Христа, и своей непорочной белизной напоминали мне Мадонн, священным жестом срывавших лилии.

Одетые в расшитые жемчугом серебряную парчу и блестящий атлас, они вырастали, как странные цветы, под бурными или горестными небесами; вокруг них, над зубчатыми колокольнями и башнями, вились облака в виде фантастических змеев и бледно-золотистых драконов. Они появлялись то среди стволов тысячелетних деревьев в чаще заколдованных лесов, где казались отдаленнее, чем в искристом сумраке цветных стекол соборов; то вдруг вставали на берегу морей с щемящими душу, бесконечно унылыми горизонтами, словно возникнув из пены и прикованные к скалам, как звездчатые кораллы, на которых расцвели мечтательные лики. Другие, подобно развевающимся на ветру орифламмам, изгибались трагическими силуэтами над полями сражений или кладбищами, — и все они были похожи между собою.

Жили ли они в Азии, в Египте или в Богемии, были ли они блаженными святыми Курляндии или колдуньями с берегов фиордов, — все они напоминали одна другую, как Черная Дева африканского храма вызывает в памяти кристальную Деву храма Снегов, и я любил их с одинаковой пылкостью, поклоняясь в их образе Деве Чудесного.

Из всех этих слышанных, прочитанных и перелистанных в детстве сказок родились мои принцессы упоения и грез; они — создание экстаза, мечты и воспоминаний. Другие, залитые солнцем, более определенны и ярки — принцессы зноя и солнца. Являлись мне и принцы, но так нежны и призрачны, так женственны были эти юные боги, что казались принцессами, — принцы улыбки и ласк. Под лунным светом и падающими хлопьями снега видел я и другие фигуры, еще таинственнее и загадочнее этих... Замкнутые в стеклянных раках, как блаженные мученицы, они скользили по медленным водам рек или спали под белыми кораллами скованных морозом лесов; их стерегли гномы в зеленых одеждах — это царицы Инея и Сна, белые принцессы Зимы.

Если, проглядывая эти полные скорби о былом волшебстве страницы, читатель встретит две-три похожих между собой сказки, как, например, «Сказка о дочерях старого герцога» и «Легенда о трех принцессах», или «Принцесса на шабаше» и «Принцесса зеркал», — пусть он увидит в этих совпадениях лишь отблеск одной и той же мечты под разными небесами, услышит отголосок одной и той же музыкальной темы, исполненной инструментами различных стран.

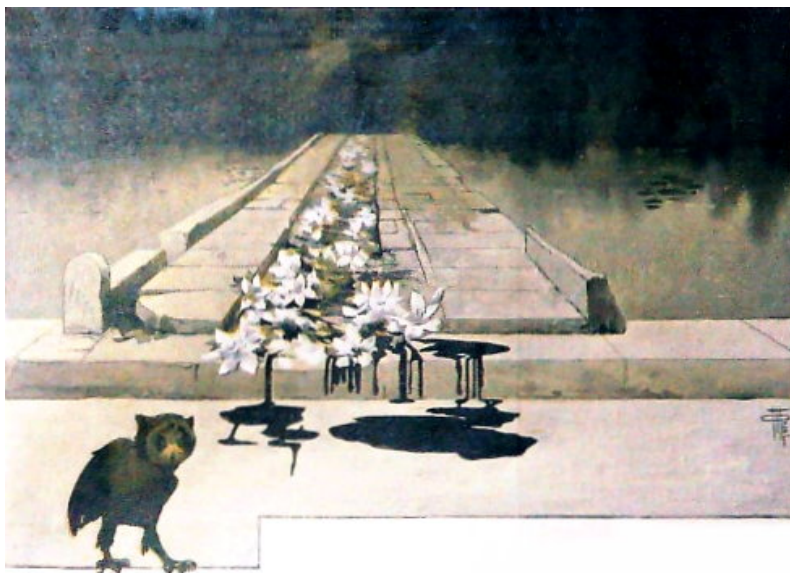
Фабула одна и та же, рассказчики расцвелили ее разными узорами... И эта разница только лишний раз подтверждает красоту символа и древность сказки, — древность, составляющую благородство преданий.

Жан Лоррен

ПРИНЦЕССЫ УПОЕНИЯ И ГРЕЗ

ПРИНЦЕССА С КРАСНЫМИ ЛИЛИЯМИ
ПРИНЦЕССА-БОСОНОЖКА
ПРИНЦЕССА НА ШАБАШЕ
ДОЧЕРИ СТАРОГО ГЕРЦОГА
ПРИНЦЕССА ЗЕРКАЛ

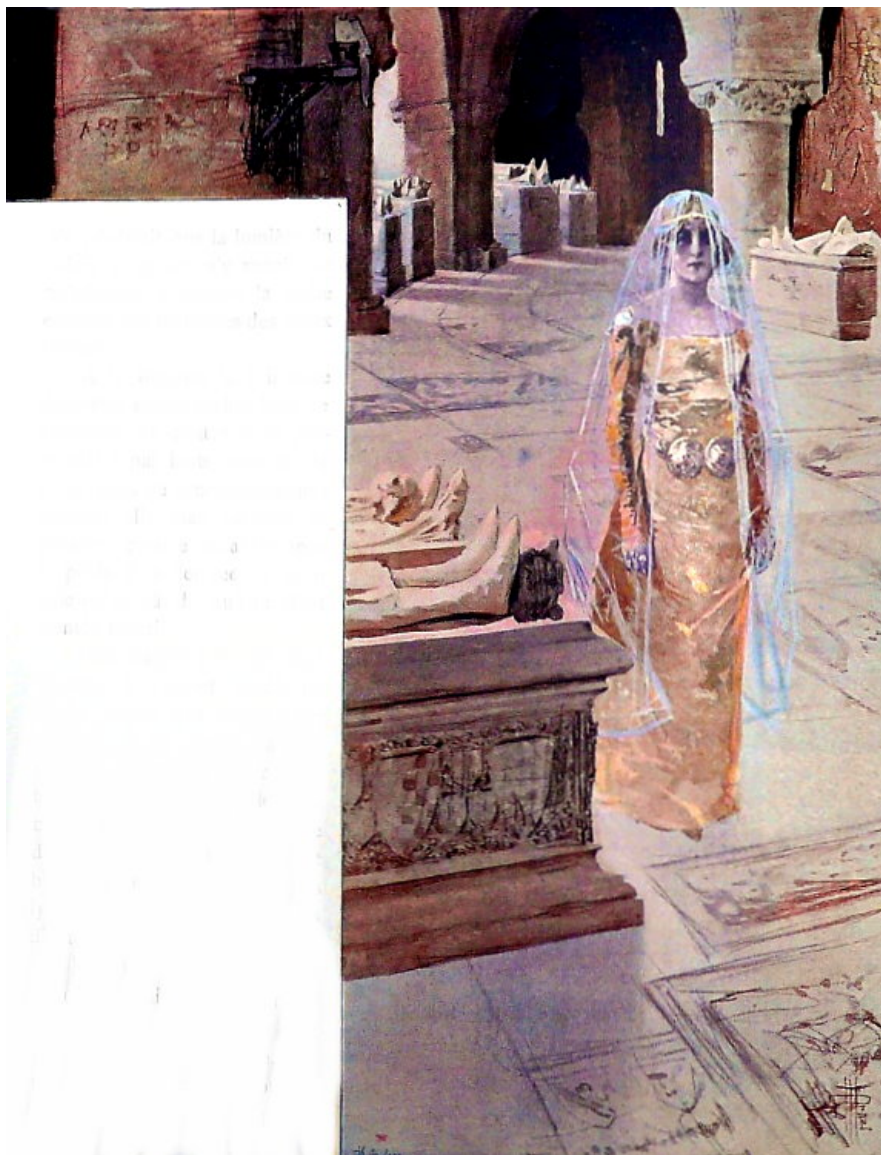
ПРИНЦЕССА С КРАСНЫМИ ЛИЛИЯМИ

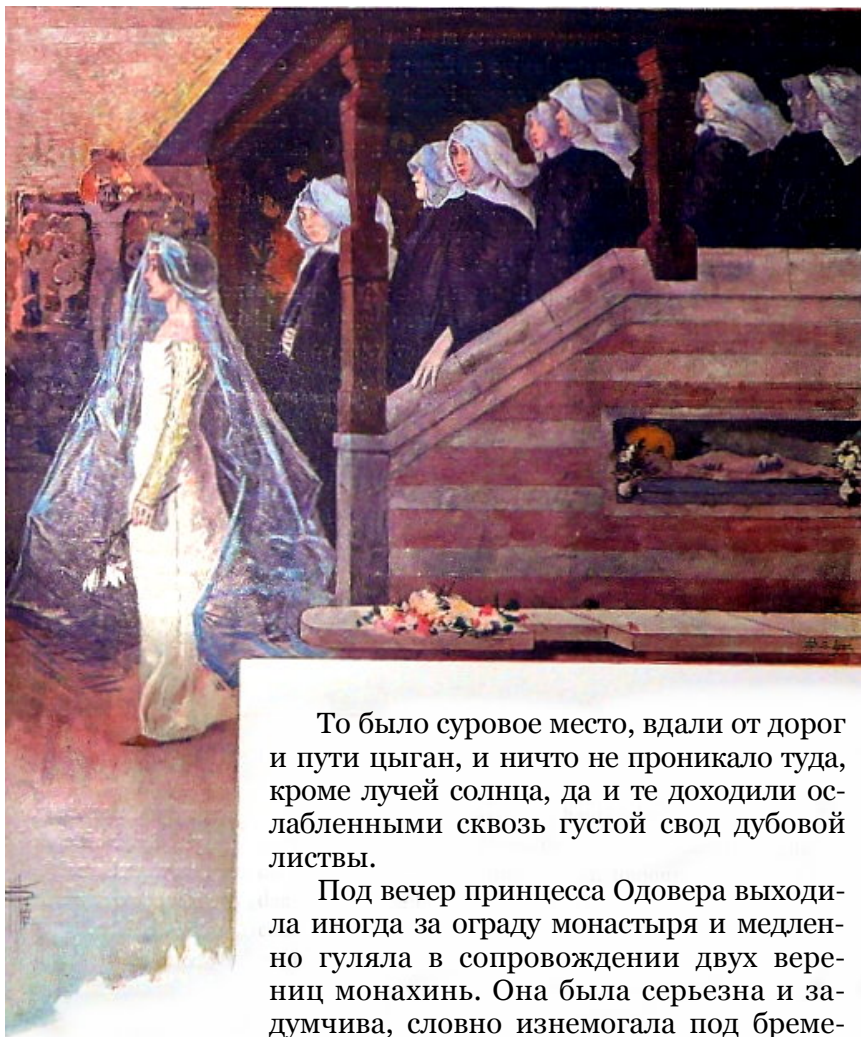


Сурова и холодна была молодая принцесса: ей едва минуло шестнадцать лет; из-под надменных бровей ее сверкали серые орлиные глаза, и она была так бела, что руки ее казались восковыми, а лоб жемчужным. Ее звали Одовера.

Отец ее, старый король, постоянно вел войны, и если не дрался с соседями у границ своего королевства, то уходил в далекие области, на новые завоевания. Она выросла в монастыре, среди гробниц королей, своих предков, и воспитание ее с раннего детства было поручено монахиням: принцесса Одовера лишилась матери при своем рождении.

Монастырь, в котором она прожила шестнадцать лет своей жизни, был расположен в сумраке и безмолвии векового леса; король один знал дорогу к нему, и принцесса всю свою жизнь не видела ни одного мужского лица, кроме лица своего отца.





То было суровое место, вдали от дорог и пути цыган, и ничто не проникало туда, кроме лучей солнца, да и те доходили ослабленными сквозь густой свод дубовой листвы.

Под вечер принцесса Одовера выходила иногда за ограду монастыря и медленно гуляла в сопровождении двух верениц монахинь. Она была серьезна и задумчива, словно изнемогала под бременем гордой тайны, и так бледна, что, казалось, скоро должна умереть.

Длинное белое шерстяное платье с каймой, расшитой крупными золотыми трилистниками, стлалось за нею, и серебряный филигранный обруч сдерживал на висках ее легкое покрывало из голубого газа, от которого бледнели ее яркие волосы. Одовера была белокура, как пыльца лилий

и как чуть побледневшая позолота старинных священных сосудов.

Так протекала ее жизнь. Спокойная, с сердцем, преисполненным радостной надежды, она поджидала в монастыре возвращения своего отца, как другая ждала бы возвращения жениха; и любимым развлечением ее было представлять себе сражения, опасности, которым подвергались воины, и сраженных принцев, которых побеждал ее отец, король.



Вокруг нее высокие откосы в апреле покрывались цветущей буквицей, а осенью алели, как кровь, от мокрой глины и палых листьев. И все так же, неизменно холодная и бледная, в белом шерстяном платье, окаймленном золотыми трилистниками, в апреле и в октябре, в знойном июне и в ноябре, принцесса Одовера проходила, неизменно молчаливая, у подножия то бурых, то зеленых дубов.

Летом она иногда держала в руках большие белые лилии, выросшие в монастырском саду, и сама была так бела и хрупка, что можно было подумать, что она их родная сестра. Осенью она сминала между пальцев наперстянки, — лиловатые наперстянки, которые срывала по краям лесных прогалин; и болезненный румянец ее губ походил на багряные, как вино, цветы, и странно, она никогда не обрывала лепестков наперстянок, а часто, как бы машинально, целовала их, тогда как пальцы ее, видимо, с наслаждением терзали белые лилии. Жестокая улыбка появлялась

тогда на ее губах и казалось, что она совершает таинственный обряд, которому где-то в пространстве отвечало какое-нибудь неведомое деяние, и действительно (впоследствии это узналось), то была мрачная и кровавая церемония.

С каждым жестом девственной принцессы были связаны страдания и смерть человека. Старый король хорошо знал это. Он держал вдали от глаз, в безвестном монастыре, эту роковую деву, и сообщница его, принцесса, тоже знала это: оттого-то она и улыбалась, целуя наперстянки или разрывая лилии своими прекрасными медлительными пальцами.

Каждая истерзанная лилия представляла тело принца или молодого воина, павшего в сражении; каждый поцелуй наперстянки означал открытую рану, широкую рану, из которой изливалась кровь сердца: и принцесса Одовера уже перестала считать свои далекие победы. Уже четыре года, с тех пор, как узнала эти чары, она расточала лобзания ядовитым красным цветам, безжалостно уничтожала прекрасные чистые лилии, даруя смерть в поцелуе, отнимая жизнь движением пальцев, как зловещий адъютант и таинственный палач своего отца, короля. Каждый вечер монастырский капеллан, старый, слепой монах варнавитского ордена, выслушивал от нее исповедь в ее грехах и отпускал их; ибо грехи цариц падают проклятием только на народы, а запах трупов — фимиам у подножия престола Бога.

И принцесса Одовера не испытывала ни раскаяния, ни печали. Она считала себя невинной, потому что грехи ее были отпущены служителем алтаря, а поля битв в ночи после поражения, где принцы, рыцари и простые солдаты хрипят в предсмертной агонии, угрожая красному небу отвратительными обрубками рук, тешат гордость дев: девушки не питают к крови тревожного ужаса матерей, всегда дрожащих за любимых сыновей. И, кроме того, Одовера была во всем дочерью своего отца.

Однажды вечером какой-то несчастный беглец (как мог он попасть в этот безвестный монастырь?), вскрикнув, как дитя, упал у ворот святой обители. Он был черен от пыли и пота, и из семи ран на его бледном теле лилась кровь. Мо-



нахини подняли его и, больше из страха, чем из жалости, поместили в прохладном могильном склепе.

Возле него поставили кувшин ледяной воды, чтоб он мог напиться, когда его станет мучить жажда, кропило, омоченное святой водой, и распятие, чтоб облегчить ему переход от жизни к вечности; грудь его уже судорожно сжималась от предсмертной икоты. В девять часов настоятельница приказала прочесть в трапезной отходную по раненому, слегка взволнованные монахини разошлись по своим кельям, и монастырь погрузился в сон.

Одна Одовера не спала. Она думала о беглеце. Она видела его лишь мельком, когда он проходил по саду, поддерживаемый двумя старыми сестрами, и ее все время преследовала одна мысль: этот умирающий, наверное, враг ее отца, какой-нибудь дезертир, в паническом ужасе бежавший с поля битвы. Сражение, вероятно, происходило где-нибудь в окрестностях, ближе, чем думают монахини, и лес сей- час, должно быть, полон другими беглецами, другими несчастными, обливающимися кровью и стонущими от боли; и бесконечное число таких страдающих и изуродованных людей столются на рассвете у ограды монастыря, где

их приютит безразличное милосердие сестер.



Стояла середина июля, и длинные куртины лилий наполняли благоуханием сад; принцесса Одовера спустилась туда.

И среди высоких стеблей, облитых лунным светом и вздымающихся во мраке, как влажные копья, принцесса Одовера шла, медленно обрывая лепестки белых цветов.

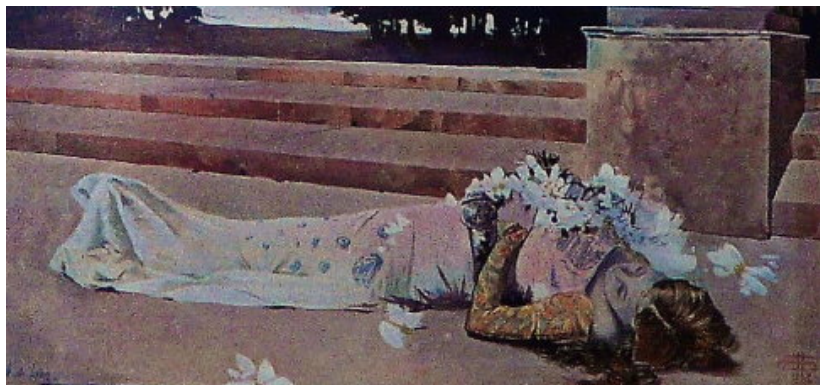
Но, о чудо! Вдруг слышались вздохи и хрипение, жалобный плач. Цветы под ее пальцами сопротивлялись и ласкались, как живое тело; один раз на ее руку упало что-то горячее, как слезы, а запах лилий, странно изменившийся, тяжелый и приторный, вызывал в ней тошноту, как будто чашечки их были наполнены смертоносным курением.

Почти без чувств, Одовера упорно продолжала свое смертоубийственное дело, безжалостно обламывая головки, безостановочно обрывая чашечки и бутоны. Но чем больше она уничтожала, тем бесчисленнее вырастали цветы.

Теперь перед нею было целое поле высоких прямых венчиков, и они враждебно вставали под ее стопами, как настоящая армия, вооруженная пиками и алебардами, расцветшими под лунным сиянием в белые лепестки, и в жесточайшем утомлении, но охваченная безумной жаждой разрушения, принцесса все шла, терзая, калеча, топча все перед собою, как вдруг странное видение заставило ее остановиться.

Из снопа более высоких цветов поднялся окруженный прозрачным синеватым сиянием труп человека. Руки были пригвождены к кресту, ноги судорожно сжаты, и раны на левом боку и окровавленных ладонях сочились во мраке. Терновый венец был обрызган грязью и гноем, смешанным с кровью, и принцесса в ужасе узнала несчастного беглеца, которого приютили сестры, раненого, умирающего в склепе. Он с трудом поднял распухшие веки и с упреком проговорил:

— За что ты ударила меня? Что я тебе сделал?



На другой день принцессу Одоверу нашли мертвой, с закатившимися глазами и с прижатыми к сердцу лилиями. Она лежала на аллее, у входа в сад, но вокруг нее росли одни красные лилии. И с тех пор белые лилии никогда не расцветали в монастырском саду. Так умерла принцесса Одовера оттого, что вдохнула аромат ночных лилий, расцветших в июле в монастырском саду.

ПРИНЦЕССА-БОСОНОЖКА



В прекраснейшую залу своего дворца ввел король за руку оборванную нищую. Там, под высокими ониксовыми и порфиrowыми колоннами, полированные стволы которых врастают в блестящие плиты пола и, отражаясь в них, кажутся вдвое выше, он заставил ее подняться на тронное возвышение, окруженное золотой галереей, ажурной, как хоры в соборе, и нежно, молящими взглядами и движениями умиленной жалости, он посадил ее на трон. И нищая повиновалась. Покорная и безмолвная, в своем убогом, грубом и дырявом платье, она опустила на подушки трона, вытянув свои запятнанные кровью и словно выточенные из слоновой кости бедные обнаженные ноги; пряди ее распущенных волос, красноватого оттенка спелых каштанов, обрамляли такой божественно спокойный лоб и пару больших и таких глубоких и чистых глаз, что ни один из придворных короля и важных сановников не изумился выбору своего властелина.



О, волшебная власть невыразимой красоты, о, чары, более верные и сильные, нежели честолюбие и гордость великих сего мира, прелесть всепрощающего лица, сотворенного из страдания и кротости!

Достаточно ей было показаться на повороте залитой солнцем и безлюдной дороги, где босые ноги ее ступали по пыли, и прорвавшийся сквозь изгороди ветер трепал ее лохмотья, чтоб пронзить, как острым ножом, сердце короля. Она стояла, печальная и утомленная, подавленная удушливым зноем дня; а позади нее тянулась однообразная желтая пелена хлебов. Она была очень утомлена, но смотрела бодро, и протянутая за милостыней рука ее сохраняла величавую гордость.

Королю показалось, что перед ним предстала странствующая душа народа, страдание униженных и малых, душа народа, не утратившая величия, просящая милостыни, но не продающаяся. А этого стойкого и грустного голубого пламени во взгляде король никогда не видел в глазах ни одной женщины, ни под накрашенными веками проститутки, ни в ласковых и забывчивых глазах своих придворных дам. И, склонив голову перед маленькой бродягой, он взял ее за руку и, сделав движение, как будто возлагал корону на это смиренное лицо, воскликнул: «Вот моя королева! Даю в этом слово нежному властелину Эроту». И все его слуги, придворные и вассалы склонили головы, принимая этот выбор и понимая его любовь.

И теперь, в безмолвии высокой прохладной залы, король сидит перед босоножкой. Он пламенно смотрит на нее, неподвижный и как будто погруженный в молитву. Он смотрит на нее, а она, скромная, съежившаяся на троне, смотрит большими, чистыми, бесконечно грустными глазами в открытое окно, на ленту дороги, которая убегает вдаль, среди хлебов, под легкими облаками побелевшего от зноя неба.

О, эти грустные глаза, уже устремленные в прошлое и сожалеющие о нем!

Ослепленный радостью и мечтающий о любви король не видит этих глаз. Преклонив одно колено, он сидит про-

тив возвышения, на котором мечтает и томится предмет его желаний. Он жадно пожирает ее взглядом, заглушает на устах бурные слова, лепечет, с сжатым горлом и безгласный; корона замерла в его безжизненных руках, и он более похож на статую в вооружении из вороненой стали, чем на живое существо.



Над его головой, как символ пламенной надежды, сквозь ажурное золото балдахина, раскинутого над троном, колеблется зеленая ветка.

Воинственный король смотрит на босоножку, а бедная босоножка, уже королева, смотрит вдаль, неведомо куда...

О, вечная ошибка, о жестокая ирония благодетелей Эрота!

Облокотившись на перила верхней галереи, совсем вверху, в фризах зала, поют два пажа-музыканта; два опасных пажа, детской и извращенной красотой похожих на двух девушек, с пышными кудрявыми волосами; и высокий зал наполняется тихими звуками их нежной, страстной и томной песни:

Сегодня юная, ты старой будешь скоро.
Головку подперев ладонями, ты взора



Не опускай, и слушай так и плачь.
Люби не медля: час наступит, как палач,
И те, что «навсегда» сейчас тебе клянутся,
И не подумают к минувшему вернуться.

И в тишине мелодичные голоса перекликались и отвечали друг другу, рассыпая пагубные советы своей страстной любовной мольбы.

Восторженные взгляды короля громко протестуют против странного и печального пророчества песни, но странствующая по большим дорогам девушка, по-видимому, верит ему.

Сидя на троне, она не видит ни распростертого у ее ног влюбленного короля и не слышит жгучей мольбы двух пажей, склонившихся с галереи над ее головой.

Она точно во власти галлюцинации и, поднявшись как бы в экстазе, устремив свои большие лучистые глаза на какое-то неведомое, родное ее сердцу видение, одной рукой опирается на лиловую шелковую подушку трона, а другой прижимает к груди букетик полевых цветов. Два голубых колокольчика, упав, лежат на ступенях трона, два колокольчика, таких же голубых, как лазурь ее пророческих глаз, отражающих таинственную лазурь неведомого горизонта.



В глубине, в рамке открытого окна, знойный солнечный пейзаж и золотые нивы кажутся пыльно-серыми, как сквозь решетки темницы.

ПРИНЦЕССА НА ШАБАШЕ



Принцесса Ильсея любила только зеркала и цветы. Всюду во дворце только и видны были, что отражения ярких венчиков и лепестков. Широкие нениюфары днем и ночью купались в воде больших алебастровых чаш, а в высоких вестибюлях, украшенных мрамором и бронзой, вечно стояли на страже влажно-бледные чашечки и прямые листья. Принцесса Ильсея никогда не смотрела ни на мужчин, ни на женщин. Она смотрелась в глаза их, как в синюю и глубокую воду, и глаза ее народа были для нее лишь живыми и улыбающимися зеркалами.

Принцесса Ильсея любила только себя. Стоя целыми часами перед застывшим оловом зеркал, она вплетала золотые и жемчужные нити в струистый шелк своих волос или украшала кольцами и браслетами тонкие обнаженные руки, уже одетая в шелковые, расшитые золотом и цветными узорами платья, рисунки которых заказывала эфиоп-

ским ткачам, навсегда лишенным надежды увидеть вновь родную страну.

Принцесса Ильсея была равнодушна, ленива и двигалась с томной грацией, тщательно заученной перед драгоценными зеркалами. Она



утопала в роскоши и жизнь ее состояла в том, что она купалась, натиралась благовониями, причесывалась, примеряла туники, покрывала и драгоценные украшения, улыбалась самой себе и мечтала о новом платье; о невиданной позе, или неведомой ткани, которая отличит ее от толпы и сделает ее непохожей на других женщин. В общем, она была довольно пустое, бесконечно эгоистичное создание, до безумия

влюбленное в себя, но с необычайным искусством она умела носить прозрачные туники с Канарских островов, ожерелья из восточных раковин, и ни у кого во всем царстве не было такого стройного стана: принцесса Ильсея любила только зеркала и цветы.

Однажды утром, нежа свое прекрасное тело в зеркальной воде бассейна, она несколько внимательнее обычного взглянула на двух бронзовых чудовищ, сидящих на краю бассейна и извергавших из раскрытых пастей непрерывные струи воды: она их не замечала до сих пор. То были две громадные лягушки с почти человеческими лицами, из зеленой бронзы, потускневшей от времени, с большими глазами, окруженными золотыми ободками, и эти стеклянные глаза горели желтым светом! Фантазия одного из предков Ильсеи украсила ими огромную залу для купанья, и, отлитые знаменитым артистом, имя которого уже позабы-

ли, два неподвижных чудовища, казалось, жили теперь на мраморных ступенях, жили страстной и призрачной жизнью художественных произведений.

И принцесса Ильсея сейчас же влюбилась в этих чудовищ. Ее нежная красота выступала еще ярче от соседства с их безобразием, и она решила населить залы своего дворца огромными металлическими и глиняными лягушками по образцу лягушек бассейна.

Легендарные принцессы и мифологические богини все изображались рядом с своими мифическими животными: Леда лежала, запрокинувшись под лебедем, Европа изгибалась обнаженный стан на спине быка, золоторогая лань поднималась на дыбы под рукой Дианы, царица Мелисанда вела на своре стройную борзую, прекрасное тело принцессы Ариадны прижималось к тигру, за царственной Юноной павлин развертывал усеянное сапфировыми глазками колесо своего хвоста, Белоснежка восседала на троне, опираясь босыми ногами на льва; Блисмодя обнимала единорога. Она же, принцесса Ильсея, изберет лягушку. Ведь были же у Венеры голуби, а у девственной Паллады — сова.



Лягушка! Ее хрупкая нагота, выступающая из парчи и золотых вышивок, покажется еще тоньше и изящнее рядом с чудовищем. И весь дворец, под руками призванных ваятелей и ювелиров, наполнился причудливыми земноводными.



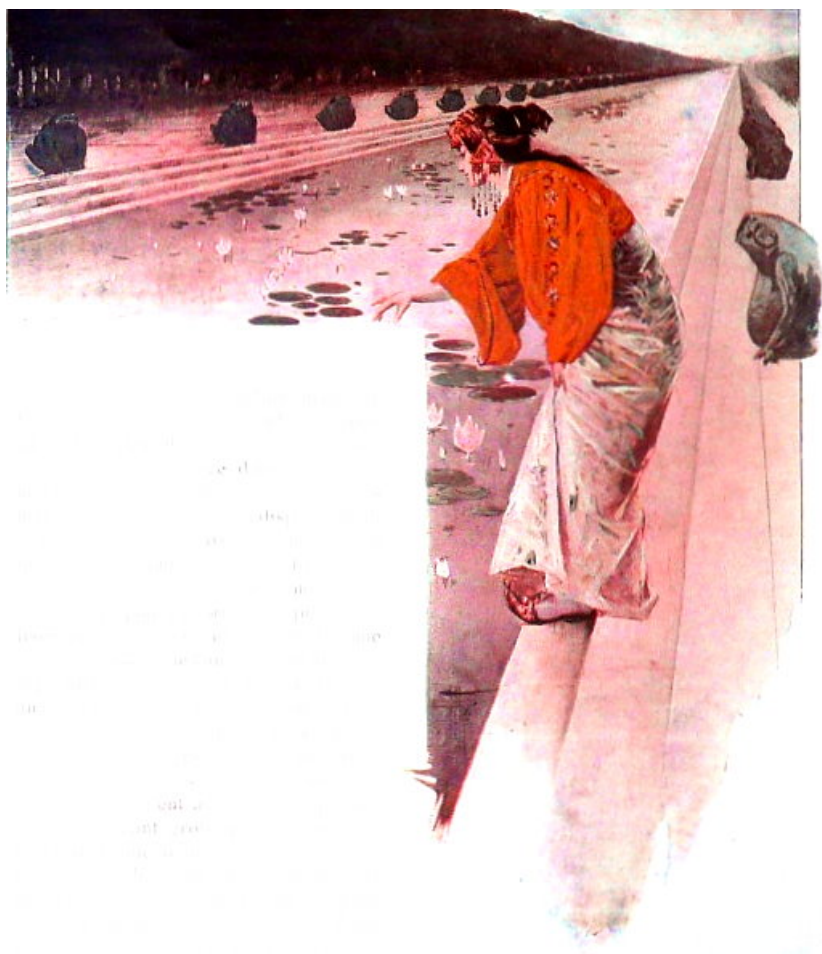
Дворец кишел лягушками. Они наполняли все залы, и среди них были зеленые, как молодые побеги, голубые, как небесная лазурь, были железные, медные, даже из покрытой глазурью глины, потому что гончарам тоже были сделаны заказы, и все керамиковые мастерские в государстве старались создать в своих печах все оттенки радуги. Одни лягушки были цвета лунного луча, другие — покрыты словно водяными чешуйками, третьи — молочно-белые, как венецианское стекло, с золотыми полосками на брюшке. Чудовище, сидевшее в ее спальне, было из вороненого серебра с изумрудными глазами, а то, что сторожило дверь ее молельни — из неведомого вещества, прозрачного, как нефрит, с глазами из бирюзы. И возле каждого неподвижного чудовища принцесса Ильсея принимала позы, томно изгибалась, уверенная в своей красоте, оживленной и как бы усиленной безобразием сидевшей рядом с ней лягушки. Невероятные платья, расшитые по зеленому фону водяных струй ирисами и анемонами, раздевали ее, показывая более обнаженной, чем сама нагота, и, в венке из речных трав, она подолгу стояла перед мертвой водой зеркал.

Она казалась заколдованной принцессой; и ей нравилось это думать, потому что она была влюблена в себя больше, чем некогда Нарцисс, воображала, что она крестница фей, и ее маленькая особа внушала ей необыкновенное почтение.

Но феи зло подшутили над ней.

В теплый сентябрьский день, бродя под остриженными тисами своего парка, вдоль берегов канала, украшенных местами мраморными лягушками (она любила во время своих длинных прогулок отдыхать, опершись на блестящую спину чудовищ), она заметила, что на поверхности канала плавают большие бледно-голубые венчики, каких она никогда не видала: то были особого вида лотосы, эмалево-голубого цвета, с лучистыми тычинками. Огромные сердцевидные листья плавали вокруг чудесных венчиков, и принцессе Ильсее захотелось достать эти цветы.

Поспешно спускается она по ступенькам и наклоняется, чтобы сорвать цветы; голубые венчики слишком дале-



ко, но рядом дремлет привязанная барка, и корму ее целуют лазурные цветы. Ильсея не колеблется, входит в лодку, но веревка сама собой отвязывается, призрачные цветы погружаются в воду, листья исчезают, и барка несется по течению, вдоль берегов, которых Ильсея уже не узнает. Река несет ее среди полей, огромных равнин, обсаженных тополями. Ильсея складывает руки и замирает от страха.

Как далеко она уже от старинного дворцового парка, как далеко от города и замка своих предков! К какой заколдованной стране влечет ее эта барка? Ильсея верит в фей и

начинает их бояться; но вот, виднеются острова. Стволы ракит разметали свои ветви среди водяных трав, на берегу сидит уродливый ребенок. В красном колпачке, с длинной ореховой палкой в руке, безобразный карлик стережет квакающую стаю лягушек, скачущую у его ног. «Тише, квакушки!» бормочет однотонный голос маленького пастушка, и принцесса Ильсея боится, как бы ее барка не пристала к берегу, потому что она узнала сказочного колдуна, кото-



рый стережет жаб. Но проклятый остров уже далеко, барка несется вперед, все быстрее и быстрее. Она скользит теперь вдоль ивовых берегов другого острова, где странные женщины ворошат вилами бледные копны сена. Это — высокие старухи в лохмотьях, с исхудалыми лицами, обрамленными седыми космами; они кричат Ильсее оскорбительные слова, смеются немим смехом и яростно вскидывают к небу разлетающееся сено. Но вот небо темнеет, грозовые тучи огненными языками бороздят горизонт, грохочет гром. Проливной дождь обливает ее теплыми и вместе ледяны-

ми струями, чудесное золототканое платье пропало, дождь сильнее бьет по плечам дрожащей принцессы, остров сердитых старух уже далеко.

Промокшая насквозь Ильеся бросилась на колени на дно барии; барка дрожит, набухшие и сердито шуршащие от дождя волны бросают ее из стороны в сторону, а в тумане вырисовывается новый остров, поросший темными каштанами. Под ветвями притаилась низенькая лачужка. Барка пристает к берегу; из лачужки выходит ласковая старушка и идет навстречу Ильсее. Дождь перестал, и добрая старушка, в большой шляпе, украшенной мальвами, приветствует злополучную принцессу. Помахивая костылем, она ведет ее в свою избушку. Она вся расписана подсолнечниками, а в стенах прорезаны маленькие окошечки, на которых по золотому фону нарисованы карлики. Старуха раздевает, обсушивает и вытирает Ильсею, и та не замечает ни ее волосатого подбородка, ни вывернутой ноги, которую она прячет под платьем. Наступает ночь, и принцесса, стоя, нагая, перед камином, чувствует, как ее натирают какой-то странной мазью; она чуть не лишается чувств от ее запаха, но приходит в себя от ужаса при виде своей хозяйки, которая сидит на корточках перед огнем, тоже совершенно голая, с морщинистой грудью, тощими ногами и отвислым животом, и натирается той же мазью.

— Сатор! Арепо! Тенета!

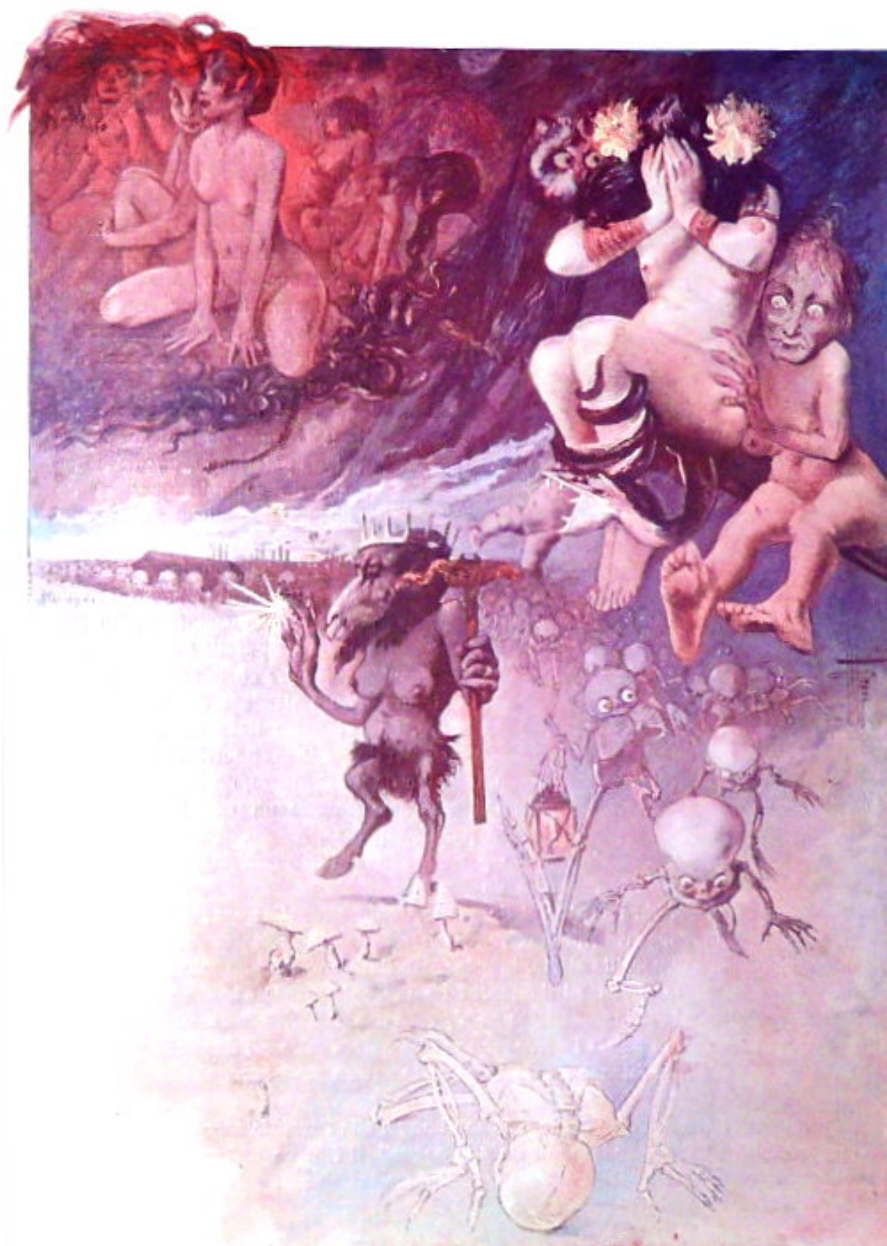
На крыше раздаются голоса, огонь вспыхивает, полено трещит, и две метлы, с шумом свалившиеся неизвестно откуда, фыркают, ржут и скачут по комнате.

— Аксафат! Сабатан! Ах, только бы мне поймать тебя, Филипп...

И принцесса, полумертвая от страха, чувствует, что ее поднимают за волосы.

В дождливом небе, озаренном зеленой луной, безумно несутся колдуньи.

Старые и молодые, жирные и тощие, красивые и безобразные; извиваются их нагие тела, длинные космы треплются по ветру, и с воем колдуньи спускаются вдалеке над лесом. Обезумев, летят за ними животные. Сова задевает



принцессу крылом, обезьяна с клювом хищной птицы кружит над ее головой, навозный жук, треща, пролетает мимо и роняет на нее свой помет. Под нею, в оврагах, по лесным тропинкам, кишит толпа: вереницами идут хромые, горбатые, чревовещатели и бродяги; точно население всей страны устремилось в паломничество, точно сразу поднялись все фокусники и жонглеры, спеша на какую-то страшную ярмарку. «Шабаш! Шабаш!» Это — шабаш ведьм. Все обитатели природой собрались здесь, и плотные вереницы их движутся, как волны, по залитой лунной равнине; акробаты, похожие на жаб, кувыркаются на дорогах, вожаки медведей пляшут на перекрестках. Принцесса Ильсея чувствует, что умирает: стая взъерошенных индюшек окружает ее, крысиный хвост ударяет ее по лицу, лисица обнюхивает ее, крылатая, как петух, гадюка бьет ее крыльями, кто-то терзает ее когтями, целует, кусает, облизывает, тысячи невидимых животных прыгают на нее, — принцесса Ильсея громко вскрикивает и просыпается.

Она в своей спальне. Ильсея вскакивает с постели, откидываете на спину растрепавшиеся волосы, — серебряная лягушка с изумрудными глазами валяется на ковре, разбитая на мелкие куски, и принцесса, едва оправившись от этого испуга, бежит к зеркалу.

О, ужас! Неужели ее все еще мучает этот отвратительный кошмар? Высокое зеркало отражает смятую постель и пустую комнату, но принцесса Ильсея не видит в нем себя. Она бежит из заколдованной комнаты, обегает весь дворец, вопрошая другие зеркала. Во всех комнатах металлические, фарфоровые или глиняные лягушки разбиты вдребезги, и ни одно зеркало не отвечает ей.

Принцесса Ильсея так и не видела никогда больше своего изображения, она оставила его на шабаше: феи подшутили над нею, чтобы наказать ее за гордость. Опасны цветы, всплывающие на воде, и опасны лица, улыбающиеся в зеркалах.

Принцесса Ильсея слишком любила зеркала и цветы.



ДОЧЕРИ СТАРОГО ГЕРЦОГА

Сказка Лиане



С рассвета сидели три дочери герцога у широкого окна, выходившего на равнину, и вот уже солнце, потонув в хаосе розовых облаков, исчезло за горизонтом.

В большой комнате, обитой шелковыми тканями, группа прислужниц тихо перебирала струны теорб и звучных арф. Восьмиугольный двор был полон смутного и нежного шепота, но три сестры не слышали его. Их взгляды, как и мысли, были далеко, за зубчатыми стенами города, за ржаными полями и огородами соседних деревень: и взгляды, и мысли их стремились вдаль, к голубым горам, где скрылась, вместе с своими повозками на больших колесах и маленькими, тощими лошадками с заплетенными гривами, последняя толпа кочевых цыган с кучей оборванных, гримасничающих и вороватых ребятишек.

Вот уже месяц, как они проходили группами от двадцати пяти до ста человек под городом, крепко охраняемым тройным рядом стен, из-за каждого зубца которых выглядывали любопытный головы горожан. И три молоденьких



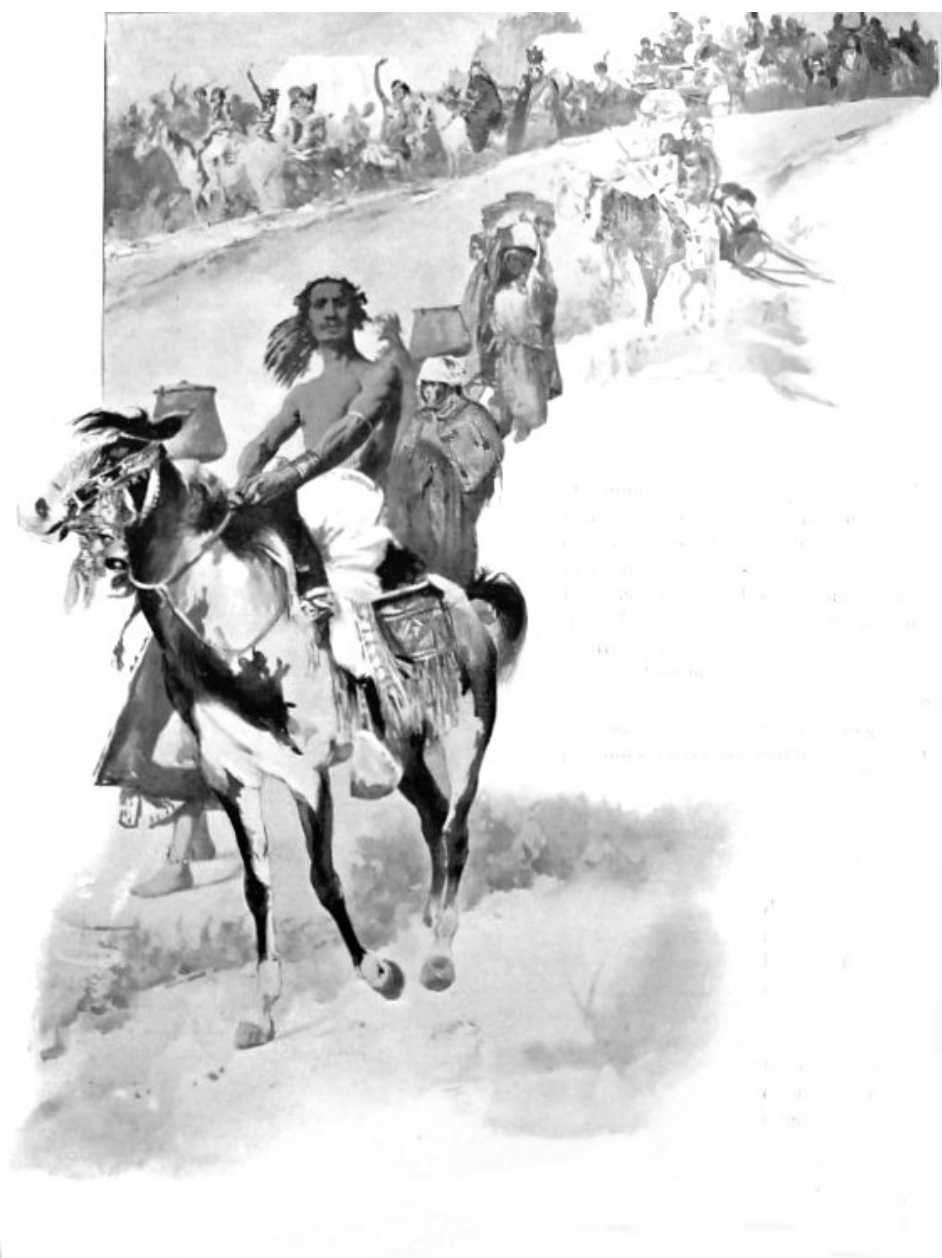
герцогини, охраняемые еще крепче в высокой цитадели, откуда правил их отец, видели, как гордо выступали пешшом или на коне, выпрямив торс и надменно подняв голову, эти потомки египтян с черными курчавыми волосами и бронзовыми лицами, озаренными большими золотистыми глазами. Вот уже месяц, как, увлеченные гримасами и выходками этих оборванцев, они покинули большое решетчатое окно своей гостиной, выходившее на Рыночную площадь, против собора. Они перешли к двойному стрельчатому окну молельни и проводили теперь там веселые утра, и тихие сумерки, и длинные вечера, стремясь увидеть на дороге, по ту сторону канав с загнившей водой, металлических взоры и сверкающую белыми зубами улыбку молодых цыган.

И во всем городе женщины, простые работницы и богатые горожанки, были увлечены этими египетскими язычниками не меньше герцогских дочерей. Так бывало каждую весну, когда эти проклятые колдуны появлялись не-

известно откуда, с границ Болгарии или из провинций Богемии, — почем знать? — может быть, и из еще более далеких стран, и обрушивались на страну, как тучи саранчи, идя по следам своего предка Аттилы. Их тонкие мавританские лица и продолговатые раскосые глаза лишали женщин покоя, они бросали кто прялку и веретено, кто прачечную, церковь или кладовую и устремлялись к городским стенам и там толкались локтями и смеялись, как безумные, при виде голых детей этих бандитов. И счастье мужьям, если жены не отваживались, распалившись, как девочки, убегать в табор, к раскинутым палаткам и тяжелым повозкам.



А язычники грабили дома и фермы, пускали пастись своих лошадей в спящие нивы, резали свиней в хлевах и петухов в курятнике, околдовывали беременных женщин, которые через девять месяцев разрешались христианскими младенцами, темными, как оливки, и волосатыми, как козлы; продавали парням любовные напитки, чтобы влюблять девушек, и выманивали у женщин деньги, заработанный мужьями. В обмен на благородные звонкие монеты они давали украшения из кованого серебра, кольца для продевания тесьмы, для удержания верности возлюбленного и амулеты против лихорадки, от которых больные не-



изменно умирали. Сомнительные гороскопы, извлекаемые беззубыми старухами из котлов, наполненных какой-то неведомой зловонной кашей, пучки сухих трав, волшебные крапленые карты и тысячи других негодных вещей сплавляли, как в горне, звонкое и блестящее золото горожан, и монеты, и украшения внезапно исчезали из сундуков и шкатулок, улетали в один месяц, поглощенные бездонными мешками этих грязных и бесстыдных разбойников.

И так шло уже много лет. Чуть распускались по откосам первые барвинки, они появлялись в поле, верхом, пешком, гордые и голодные, с котомками, привязанными к седельной луке, с котелком, железной вилкой и оловянной тарелкой, навьючив свой скарб на согбенные спины женщин, с голыми стариками и детьми, скучившимися, как нечестивые боги, в повозках. И вся эта толпа пела и плясала, радовалась под дождем, ветром и солнцем, весело ударяя бубнами о пятки, и от задорных звуков их молодежь, и, особенно красивые девушки, скакали и кружились, как огненные искры.

Пронзительные взрывы их смеха и сумасшедший топот, как чарами, одевали перекрестки. Едва на небе загоралась первая звезда, они начинали свои хороводы и водили их вокруг ярких костров далеко за полночь, и дороги становились небезопасны от всех этих бродяг, заплонивших страну.

И наконец, этой весной, по просьбе старшин и купцов, правитель-герцог запретил всем выходить за городские ворота во время проезда этих проклятых язычников, и весь чудный апрель они тянулись по ту сторону рвов и располагались лагерем под стенами, а наверху, с дозорных тропинок и сторожевых башен, за ними следили жадными глазами жены богатых горожан и дочери ремесленников, в глубине души раздосадованные и огорченные герцогским указом.

Весь прекрасный апрель, когда цветет шиповник и дороги благоухают от снега яблоневых цветов, когда солнце огненными стрелами горит на воде прудов и на молодых побегах раkit, им пришлось сидеть дома, в углу у очага, и

шить, и пряхать шерсть вместо того, чтобы, бегая по лугам, срывать голубой барвинок. И смятение царило в богатых домах главных кварталов и в бедных лачугах предместий. Оно царило и во дворце, где герцогини привыкли призывать один раз за время кочевья цыган самых лучших музыкантов и слушать целый день их скрипку и песни. Но непреклонный герцог запретил цыганам доступ в город, как запретил жителям выходить к повозкам и палаткам цыган, и молодые герцогини испытывали раздражение против своего отца, возраставшее с каждым днем по мере того, как кочевые орды египтян становились все реже на дорогах. Распространился слух, дошедший из окрестных деревень и передававшийся теперь в городе, что цыгане, недовольные запрещением, отныне будут совершать большой обход и в следующие свои странствования будут избегать этот город с запертыми воротами; в последний раз останавливаются они в тени его стен, и их не увидят здесь больше.



Прошло уже два дня с тех пор, как последняя повозка последнего табора медленно исчезла в золотых сумерках и синеве гор под отчаянный звон гитар и прыжки голых подростков. И теперь царила тишина, нарушаемая лишь чириканьем и писком, доносившимся из гнезд — гнетущее безмолвие полей, которое разбудит лишь коса жнецов. Пустынная дорога, змеясь, уходила вдаль, и редко на ней темнел пятном одинокий прохожий, казавшийся не больше муравья, а совсем вдалеке недвижимо стояла цепь сторожевых гор, замыкавшая бледное небо и охранявшая горизонты.

Шел уже третий вечер, и с рассвета три дочери влестителя сидели у открытого окна, выходившего на поля; в просторной комнате, только что наполненной лепетом и тихими песнями прислужниц, смолкли звучные арфы и теорбы. Уже два часа, как солнце упало за фиолетовые вер-

шины, и луна, поднявшаяся из-за кипарисовой рощицы, заливала ярким серебром побледневшие тканые обои герцогского гинекея. Три сестры остались одни, потому что наступил час ужина, и служанки удалились в кухни.



Старшая из герцогинь, которую звали Белланжера, очень бледная, очень высокая и очень серьезная, с русыми волосами и красивыми черными глазами, медленно обернулась к сестрам, белокурой Ивелене и золотоволосой Мерильде, и, не сказав ни слова, приложив к губам палец, сделала им таинственный знак. И обе, задрожав, побледнели и прижались к ней. Чарующий и задорный звук скрипки весело звенел в поле, потом послышался голос, чистый, как мечта, манящий и печальный, голос ручья, луны, поющего цветка, и обе молодые девушки, склонив головы, послушно последовали за сестрой.

Они спустились в высокую залу с украшенными гербами сводами, где отец их ужинал при свете восковых свечей, горевших на стенах. Он ужинал, поглаживая голову датского пса, лежавшую на его коленях, а вокруг него, ожидая приказаний, стояли оруженосцы в железных латах и касках. Они вошли, как три феи, и старая темная зала посветлела, как от зари. Они казались почти нагими в длинных платьях из шуршащего шелка, отягченных драгоценными камнями, и волосы их, умащенные ароматами, золотые у



Мерильды, белокурые у Ивелены, сверкали пламенем из-под жемчужных понизей парчовых повязок. Опершись грудью на спинку кресла и обвив обнаженными руками шею герцога, они прижимались к нему с улыбкой, ласковыми жестами и нежными словами и наполнили его кубок питьем, которое принесла молчаливая Белланжера. Шаловливо они омочили в кубке свои румяные губы, потом, осыпая отца тысячами поцелуев, Ивелена стала перед ним

на колени, Мерильда присела на ручку кресла, и они заставили его выпить три кубка, а Белланжера, держа в руке амфору, молча, стояла позади.

А когда герцог заснул, кубок стал обходить стол. Нежные руки герцогинь подносили его капитанам и солдатам, и под тяжелыми железными касками глаза воинов загорались, на висках и щеках выступали старые шрамы, и лица их напоминали маски. А молодые герцогини, спустив с плеч шелковые корсажи, смеялись губами и глазами холопам и вельможам, прижимали белые пальчики к губам, расточали мимолетные объятия и смелые жесты и были похожи на молодых куртизанок. Вдали, в ясной ночи, все так же пела скрипка, все так же рыдал голос.



И мало-помалу заснула вся свита герцога: закованные в железо воины храпели, кто повалившись головой на стол, кто прижавшись в угол, в кордегардии спали часовые, тоже опьяненные появлением трех герцогинь, и от всей ци-

тадели к небу неся стонущий храп; магический сон сковал всех.

Совсем, совсем вдали, на росистых лужайках, светлых тропинках, среди серебристых кустов лунного леса, звенело ржание и гулкий топот трех скачущих коней... Трещали высокие сломленные ветки, испуганно шептались молодые листья, щебетали разбуженные гнезда, вскрикивали испуганные птички, но радостный голос, уже переставший жаловаться, успокаивал и ветки, и гнезда, и листья, и в серебристой ночи этому голосу отвечали трели песни и смех трех других голосов.

Когда же над герцогским замком занялась заря, служанки растерянно остановились на пороге гинекея: три герцогини исчезли. Потайной ход, ведущий в поле, был открыт, и перед ним, прислонясь спиной к арке, еще стоял часовой, но в сердце его торчал кинжал. Его заколола одна из трех герцогинь, — Беланжера, Ивелена или Мерильда? Неведомая рука, как бы в насмешку, повесила на красовавшийся на двери герб цыганский бубен и ветку дрока... Весь гарнизон целый день обыскивал всю окрестность, но так и не напал на след герцогинь. И никогда больше мимо города не прошел ни один табор цыган.

Чуть занималась заря, три дочери герцога садились у окна.



ПРИНЦЕССА ЗЕРКАЛ

I

В пещере, изрытой трещинами и синеватыми впадинами, в смутном сумраке вырисовывались страшные и неопределенные видения: сидящие на корточках вокруг котла фигуры, красные вспышки огня, ползающие чудовища, клубы удушливого пара. Местами из-под слоистых камней свода выступали капители колонн и изваяния. Пещера была древней усыпальницей. Некогда она служила последним приютом царским мумиям. Это была скорее гробница, чем пещера, и тысячелетний ужас заполнял длинные переходы подземных галерей, где еще носились маны усопших фараонов.

Но принцесса Иллида не побоялась нарушить эту тайну, не побоялась встречи с призраками.

Принцесса Иллида хотела, чтобы нумидийские колдуны открыли ей тайну или дали волшебного зелья, которое сохранило бы неувядаемой ее властную и нежную красоту, и, увлеченная этим желанием, она не остановилась ни перед чем. Она проехала всю большую пустыню и, еще ослепленная знойным блеском песков, обжигавших глаза даже под длинными покрывалами из фиолетового газа, проникла в эту тень и, вздрагивая от трепетного очарования, спустилась в жуткий сумрак пещеры.

Хрупкая и беспечно-ленивая египетская принцесса решилась на этот смелый поступок, и ее арфистки и флейтистки, вся свита юной царицы Востока, шуршащая шелками, драгоценностями и звенящая музыкой, все эти окрашенные генной ступни, быстрые тонкие пальцы, нагие груди, все эти перламутровые торсы и колени, и молодые шеи, и пурпур всех этих уст, и весь блеск и роскошь, и веселье юного, пышного и суетного двора, зеленая парча евнухов и опахала из розовых ибисовых перьев ее восьми прислужниц, индийских принцесс, до пояса закованных в тонкие

золотые сетки, и аромат курильниц с звенящими цепочками, и мягкий шелест шлейфов, шептавшихся на мраморных ступенях, как водяные струи в порфиновых бассейнах, — вся эта пышность, все великолепие и вся эта радость спустились вместе с Иллидой во мрак пещеры. Сверкающая и лучезарная под знаменами и высокими, украшенными пучками волос пиками своей галльской стражи, Иллида, в золотой митре, расшитой жемчугами, Иллида, похожая на идола под бирюзовыми и опаловыми подвесками, струями сливавшимися от ее висков до кончика груди, Иллида, казавшаяся еще прекраснее оттого, что взгляд мог лишь смутно уловить ее красоту, Иллида стояла на ступени мраморной лестницы, на которой выстроился ее двор, и, глядя на распростертых перед нею на земле восхищенных колдуний, испытывала высшую гордость и высшую радость, так как чувствовала себя богиней и переживала минуты вечности в сиянии своего тела и своей красоты, превознесенная в глазах всех Страхом и Желанием. Тяжелая мантия, сверкающая желтыми и лазурными вспышками топазов и сапфиров, спускалась по ступенькам вслед за ее шагами и делала ее похожей на нефритовую Изиду в сиянии развернутого хвоста гигантского павлина.

И, вся отдавшись упоению своего торжества, Иллида не заметила ни усмешки оборванных колдуний, ни их светящихся глаз. Уверенная в своем могуществе, она протягивала им для поцелуя большой лотос из бериллов и топазов, заменявший ей скипетр, затем, подозвав рабов, одарила их драгоценностями из своих ларцов. А взамен пожелала получить тайну вечной красоты. И колдуньи засмеялись, и круглые, стекловидные глаза их внезапно вспыхнули во мраке, как глаза морских орланов. Со смехом, похожим на жуткий хохот гиен, колдуньи отвергли дары. То, что она просила у них, нельзя оплатить ценой золота, и, несмотря на настойчивые увещания своего астролога, несмотря на мольбы, что шептала ей на ухо ее любимая рабыня Мандозия, с тревогой обвинившая прекрасными обнаженными руками ее шею, Иллида, вся во власти своей мечты и желания, обещала волшебницам то, чего требовали их злове-

щие уста: в обмен на траву, дарующую вечную красоту и юность, они потребовали одну ее ночь. Они потребовали, чтобы за дар вечной красоты девственная принцесса подарила им одну из своих ночей.

— Приди к нам в полночь в Ливийские горы. Там, среди диких камней и мастиковых деревьев, на высоких плоскогорьях, где гибнут и сохнут на слишком редком и слишком чистом воздухе даже алоэ, ты сорвешь волшебную траву, что сохраняет неизменной юность лица и красоту форм.

И перед зеркалами, внезапно выступившими из мрака, Иллида, обезумевшая от гордости, Иллида, трепещущая от радости при виде очаровательных, сверкающих юностью и красотой лиц, волнующих образов нетленного будущего и вечного могущества, Иллида, увлеченная своим желанием и поддавшаяся обману, Иллида, египетская принцесса и христианка, но позабывшая, что над нею было совершено таинство крещения, Иллида, последняя дочь и наследница ста храбрых фараонов, обещала нумидийским колдуньям, что придет к ним в полночь на высокие плоскогорья ливийской цепи. И колдуньи захохотали, как гиены, и глаза их внезапно вспыхнули на землистых лицах, стекловидные и зеленые, как глаза орланов.

II

— При входе твоём, принцесса, побежали в тень бледные видения и что-то невидимое поползло, шлепая тяжелым, дряблым брюхом, как гигантская жаба.

— Все это химеры, ты боялась, а страх порождает призраков.

— Кармиона и Эноя видели это так же, как и я. В углах висели саваны, а в бронзовом сосуде лежали мертвые кости. Эти колдуньи задумали злое дело; не ходи к ним, принцесса.

— А мое слово, боязливая Мандозия, не дело простой рабыни рассуждать о царском слове. Я пойду.

— Так пусть хранят нас боги, потому что вид этих женщин не предвещал ничего доброго, от них пахнет землей и трупом.

— Вздор! Они живут в пустыне и стали сами похожи цветом на песок, я не возьму их в свою свиту. Взгляни, как умирают горы в пламенной алой дали; небо зелено, как бирюза. Ах, если бы можно было украситья рубинами и бриллами заката. А красота моя не закатится никогда, если я сорву священную траву. Каждый вечер, когда будет умирать солнце, гордость моя будет упиваться радостной мыслью: «Никто не увидит отныне жала времени на моем челе». Отпусти танцовщиц. Они кружатся, как зерно в решете, а развевающиеся платья их жужжат, как рой пчел. Это раздражает меня, а, кроме того, эта малютка Адизия слишком хороша, на нее заглядываются даже евнухи. Когда-нибудь я прикажу распять ее на кресте.

Так разговаривали в сумерках принцесса Иллида и ее рабыня Мандозия. Нагие танцовщицы рассеялись во мраке, в светлом, голубоватом сумраке египетских ночей вечерний воздух легок, как дымок фимиама. Иллида и ее рабыня беседуют на террасе высокого дворца, построенного Птолемеями, с расписанными зелеными фресками и украшенными иероглифами стенами, рассказывающими о любовных похождениях Мемнона и подвигах Осириса. Сфинксы мечтают, полулежа, между колоннами, увитыми гирляндами цветов лотоса, соединяющими все колонны. Цветы медленно вянут, наполняя ночь своим благоуханием, медленно осыпаются их лепестки на подушки, на которых раскинулось божественное тело Иллиды, и от свежести их она вздрагивает под своими воздушными покрывалами. Иллида сняла с себя все драгоценности и, опершись локтем на гранитные перила, тревожно ждет часа, когда луна поднимется над Ливийскими вершинами и зарябит, как зеркальную водную гладь, песок пустыни. Тогда Иллида покинет дворец, город, предместья и отправится к колдуньям.

У подножья террасы слышен шум шагов и звяканье оружия первого ночного дозора.

— Тс! не шуми, Мандозия, молчи. Надо, чтобы эти люди не заметили нас. Готов ли мой плащ и сандалии? Ты проводишь меня до выхода из предместий... Как медлит сегодня луна. Эта ночь никогда не кончится. Тс! Теперь можешь говорить. Они ушли. Что ты сказала?

III

Огромная красная луна повисла в небе; принцесса Иллида торопливо пробирается сквозь пески. Ночь удушлива, и пустыня сияет, бесконечно скорбная, белая и унылая, как соляная степь. Вдали, на бледно-зеленом небе, громады Ливийских гор кажутся стеной, сложенной из глыб камфоры, и местность проникнута безграничной печалью и необычайным запустением. Местами ствол алоэ вытягивается, как высохшая рука, местами из песков выступает каменная глыба, и бесформенный профиль ее как будто смотрит и тревожит. Принцесса Иллида почти раскаивается в своем безумном предприятии.

Но вот луна гаснет, и вместе с нею погасает местность. Пустыня теперь сера, как пепел, и в свинцовом небе плывет белесоватый, как гипс, диск, источающий скудный, как холодные тусклые слезы, свет. На горизонте горы покрылись погребально-серыми саванами. Под ногами принцессы песок начинает шевелиться и приподниматься, и в нем кишат неведомые существа: жабы, гномы или крошечные крокодилы? Нет, Нил слишком далеко! Существа эти ворочаются, ползут, плетутся, иногда подпрыгивают, и испуганный взор Иллиды улавливает короткие, точно обрубленные лапы пингвинов, костыли и туловища калек и даже клешни крабов. То мелькнули круглые горящие глаза каракатиц и дряблые мягкие спины гадов, то морщинистые желтые животы, то змеинная чешуя и щелкающие клювы ибисов — пустыня превратилась в болото. Иллида чувст-

вует, как ее терзают когти, кусают челюсти, облизывают чьи-то языки и целуют чьи-то уста, от которых ей хочется бежать. Она спешит и погружается в отвратительную подвижную мякоть сатанинской и скотской толпы, она кружится на одном месте и инстинктивно обвивает руками шею сфинкса из зеленой яшмы, который вдруг появляется возле нее. Сфинкс ржет и, внезапно взвившись в воздух, несется по небу, высоко над кишачей и безмолвной толпой, а принцесса лишается чувств.

Иллида очнулась. Она идет теперь или, вернее, ее влекут через камни по горной тропинке, пробитой в крутой скале, по которой скользят ее ноги. Иллида слепа; повязка больно сдавливает ей веки, в рот затиснута тряпка, и двое невидимых спутников грубо подталкивают ее вперед. Обесчеленную от ужаса Иллиду ведут к какому-то неведомому месту ужасов или мучений, и вдруг раздаются пронзительные и угрожающие вопли, смех, язвительная брань и радостные возгласы, разнузданное неистовство мятежа, безумные вопли народа, захватившего в плен своего властелина. С глаз Иллиды снимают повязку и вынимают тряпку изо рта. Перед нею амфитеатр причудливых скал, под которыми вьются зацепившиеся за горные склоны облака. И Иллида, не выдавшая никогда этого места, узнает высокое плоскогорье Ливийской цепи. Ее окружает бесчисленная толпа: оборванные, перевитые змеями колдуньи с воем и угрозами, протягивают к ней кожистые пальцы, летучие мыши запутались в их волосах, как цветы, и глаза их сверкают фосфорическим светом. Перед нею фессалийские, фракийские и египетские волшебницы, ливийские и нильские колдуньи. Среди них виднеются и волшебницы из страны галлов, бледная нагота которых прикрыта звериными шкурами; индийские волшебницы с тонкими телами, заканчивающимися, как у идолов, петушиным клювом или ястребиной головой. Одни лают, как собаки, другие воют, как волчицы; у одних посредине лица свисает слоновий хобот, и хобот этот обвивается вокруг их ног и как будто нюхает маленький череп, помещающийся внизу их живота. Другие — в длинных черных чулках, доходящих до половины

бедра, и от них тело их кажется белоснежным, отделяясь от чулка маленькой красной виперой, обвивающей их ноги выше колена. У третьих головы перевиты длинными, черными, как ночь, травами, и в этом мраке покачиваются огромные алые маки, которые кажутся живыми, — так они подвижны и мясисты. И вся эта разнузданная толпа окружает ее, хватает и увлекает через скалы и пропасти, вершины и долины, и Иллида, полумертвая от ужаса, чувствует, что плывет и летит вместе с ними по воздуху, среди растрепанных клубов перламутровых облаков.

Над пальмовыми лесами и белыми от снега вершинами несет ее колдовской хоровод. Молодые и старые, тощие и толстые, красивые и безобразные, но все одинаково страшные, нагие тела изгибаются, спускаются потоком, взвиваются струями, кружатся, переплетаются и предаются бесстыдному разврату. Летают какие-то животные; совы задевают Иллиду крыльями, обезьяны щекочут ее, козлы бодают ее, крысиный хвост задевает ее по лицу, какие-то морды обнюхивают, крылатые, как петухи, змеи бьют ее своими крыльями, а тонконогий карлик с огромной головой предлагает ей, усмехаясь, свою руку и странный цветок подсолнечника. У ног ее, на расстоянии многих миль, под разорванными и клубящимися тучами спокойно спят по берегам рек города и леса в оврагах.

Теперь возле Иллиды уже не карлик. Чудовищный ворон схватил ее под крыло; на нем епископская митра и риза, как у служителя алтаря. В одной лапе он держит книгу заклинаний и, каркая, бормочет какую-то кощунственную молитву. За ними плывет по воздуху сомлевшая от экстаза лягушка в стихаре, с белыми глазами, а вокруг нее развеваются рясы целой вереницы монахов, и монахи эти — закутанные в капюшоны аисты, которые гнусаво распевают псалом, как кающиеся демоны.

Принцесса Иллида проснулась на заре в высокой комнате дворца Птолемеев, но зеркала никогда больше не показывали ей ее греховной красоты. Иллида нигде не могла

найти своего отражения: она оставила его на шабаше. Египетские колдуньи наложили на нее чары в наказание за ее гордость. Не надо доверять колдуньям и лицам, улыбающимся в зеркалах.

ПРИНЦЫ УЛЫБКИ И ЛАСК

НАРКИСС
ИЛАД
УМИРАЮЩИЙ ДЕНЬ
ЛЕГЕНДА О ТРЕХ ПРИНЦЕССАХ
СКАЗКА О ЦЫГАНЕ

НАРКИСС

Посвящается моему другу Лалику

I

Передо мной на столе, из открытой пасти неуклюжей фаянсовой рыбы, возносятся вверх цветочные чашечки на гибких стеблях: английские ирисы, словно тронутые светом, белые, как азалии, прозрачные, как перламутр, белые ирисы страстнее, причудливее и красивее орхидей, а за ними, как водная струя, взвиваются длинные, похожие на рог изобилия арумы, пушатся раскидистые белые пионы, точно сотканые из тела и шелка, и звездой горит желтое пятно ромашки. И, в сумраке высокой комнаты с закрытыми ставнями, цветы, точно извергаемые пастью фаянсового чудовища, в неподвижности своей словно живут сверхъестественной жизнью. Это уже не цветы, а произведения искусства, одушевленные и наделенные таинственной волшебной силой. Ирисы словно вырезаны из нефрита, а крупные бутоны пионов, набухшие от тяжелых лепестков, раскрываются широкими чашами, как белые лотосы. В самом деле, они кажутся сверхъестественными в безмолвии рабочего кабинета, эти бьющие точно струя и застывшие в своем великолепии и редкостной белизне цветы. В них тайна соков и воды, и странное сияние исходит от них. Вся высокая темная комната освещается их прозрачными венчиками. Эти цветы!.... Им известны все легенды ручьев и озер, все эклоги лесных ковров и все идиллии лугов, но им ведомы также и все тайные извращения древних религий, они украшали алтари столько богов и утешали своим ароматом рыдания столько агоний. Их символические венчики, от длинных процессий жертв у подножия костров ведической Индии до гекатомб сицилийских быков, увивали своими гирляндами все торжества и все казни, украшали церемо-

нии поклоняющегося Изиде Египта, древние храмы Индии и цирковые игры Рима цезарей. Они страстны, жестоки и преисполнены торжества; они постоянно возрождаются, питаются кровью, потому они божественны. Они сладострастны, они все имеют форму пола: лепестки пионов раскрыты, как уста, а длинный, золотой, прямой и торчащий в обвивающем его венчике пестик арума бесстыден, как фаллос, которому поклоняются пароды Востока.

Древнюю восточную сказку, старинное египетское предание приводит мне на память пышный и бледный апофеоз длинных нефритовых ирисов, прямых арумов и крупных пионов, похожих на лотосы, потому что так возносились, вероятно, среди враждебного хаоса листьев и стеблей белоснежные лилии, перламутровые ирисы и громадные кувшинки в легенде о Наркиссе. Все эти зловещие и лучезарные венчики, напитанные кровью жертв, как цветы-вампиры, качались на загнившей воде Нила, у подножия древнего храма и широкой лестницы, где юный фараон, сверкая своей наготой, геммами и золочеными цветами из слоновой кости, медленными шагами прогуливался в сумерки по полуразрушенным террасам.

Наркисс! Да, египетский Нарцисс! Этой зимой один араб-драгоман рассказал мне легенду о нем, гораздо более трагическую и красивую, чем миф о греческом эфебе, влюбленном в свое отражение и умершем, склонившись над водой ручья, не слушая нежного призыва нимф.

Нарцисс, сын Кефиса и Лейриопы, был так красив, что все нимфы любили его, но он не слушал ни одной. Эхо, не будучи в состоянии соблазнить его, иссохла от горя. Тирезий предсказал родителям юноши, что он будет жить до тих пор, пока не увидит своего лица. Возвращаясь однажды с охоты, он увидел свое отражение в источнике и так влюбился в себя, что умер от тоски и был превращен в цветок.

Это — Нарцисс мифологического словаря и «Метаморфоз» Овидия, хрупкий и бледный юноша; нежный образ и грациозные формы его, проникнутые женственной преле-

стью и чахоточной томностью, составляют, в живописи или в скульптуре, достояние всех европейских музеев.

Какой художник не соблазнится волнующей тайной человеческого существа, превращенного в цветок! И все они увлекались бледностью этого низкого лба, круглящегося, точно цветочный венчик, на гибкой, как стебель, шее, и тяжестью этой роскошной головы, уже равнодушной, как растение, и поднимающейся над бескровными плечами и тонким, как цветочный стержень, торсом.

Как ни грустен этот миф, но он все же изящен, несмотря на проникающую его великую, но улыбающуюся печаль. Сказка же о египетском Наркиссе страшна!

Наркисс, принц египетский, сын и внук бесчисленных фараонов, отличался сверхчеловеческой красотой: кровь Изиды текла в нем, как в течение долгих веков и во всех членах его рода. Но он был последним отпрыском славного поколения, и божественность родоначальницы расцвела в нем с такой пышностью, что мать его будто бы воздавала божеские почести его колыбели, и рождение его ознаменовалось страшными преступлениями. Ревнивые кормилицы его перерезали друг другу горло, даже животные были чувствительны к его красоте. Вокруг города бродили львы, пришедшие из глубины песков следом за караванами, потому что кочевники и днем и ночью толпились под стенами Мемфиса в надежде увидеть улыбку царевича. За ними брели стаи шакалов и гиен; из осторожности они останавливались на окрестных холмах, тоже привлеченные ощущением присутствия чего-то чудесного, и выжидали, подстерегая случай броситься на город и ворваться в ворота. Тучи розовых ибисов, со времени появления на свет дитяти, спустились на сады богачей; они приглаживали свои перья с утренней зари до заката, щелкая клювами, и пальмы вили точно купались в вечной заре. Удвоили число часовых на стенах, на каждой из башен поставили по четыре сторожевых, а из песков пустыни и из отдаленных деревень все так же стекались к Мемфису стаи зверей и толпы людей. Палатки заняли всю равнину, а длинные барки— всю реку, и по ночам, при свете луны, нильские крокодилы

выползали из тины и с плачем взбирались на ступени террас. Их длинные прожорливые пасти стучались в бронзовые ворота, а чешуя странно шелестела во мраке, вдоль парапетов, покинутых слонами, потому что запах крокодилов так отвратителен, что от него бегут даже крупные хищники, и ужас царил во всем дворце.

В городе люди убивали друг друга: заговоры заливали кровью храмы, на улицах ревел мятеж, а под стенами велась осада. Супруга фараона, гордая своим сыном, приказала удушить мужа и провозгласила царем ребенка. Все женщины и весь народ были на ее стороне против партии жрецов и старейшин. Умерший фараон завидовал сыну, и мать решилась на страшное убийство для того, чтобы спасти Наркисса. Ребенок жил, и жуткая красота его возрастала с часа на час среди буйства и воплей крамольников, угроз, заговоров, сверкания пик в руках мятежников. Он рос красивым и сильным среди ужасов осады, еще усиленных чумой и голодом, принесенными номадами и разноязычными толпами, сгрудившимися у городских стен. Небо над городом и на десять миль в окружности было черно от хищных птиц; одни только звери не дохли с голоду, и по ночам слышались лишь страшные стоны крокодилов, ползающих по террасам, да их зловещий хохот, когда им удавалось схватить на ходу какого-нибудь раба, потому что крокодилы не питаются трупами. — Это была первая часть рассказа драгомана.

Но вот жрецы Изиды, ссылаясь на волю богини, овладели роковым младенцем. Они отняли его у царицы и, скрыв под длинным черным покрывалом чудесную красоту Наркисса, поместили его среди своих приверженцев, потом, под предлогом религиозного праздника и паломничества к одному из своих храмов, увезли однажды юного фараона из Мемфиса, далеко от надзора его телохранителей, и оттуда, постепенно перебираясь с одного места в другое, увезли внука Изиды в верное убежище, в старое святилище, некогда посвященное Озирису. Гигантские руины его вместе с развалинами трех других храмов уже в течение восьми столетий возвращались к природе, погребенные среди

лиан, хвощей, акантов и высоких папирусов мертвого рукава Нила.

По возвращении, жрецы рассказали народу, что им явилась Изиды. Богиня призвала к себе младенца-фараона, и Наркисс будет возвращен им, когда ему минет двадцать лет. Мать царя, низложенная с престола, так как у нее уже не было сына, вступила в орден жриц, и узурпаторы стали править от ее имени: впоследствии они хотели править именем Наркисса.

Им было выгодно охранять его жизнь, воспитывая его по-своему, вдали от народа и советов сановников, в этих уединенных храмах. Когда же ребенок будет сформирован по их образцу, сделается их орудием и вещью, и царственная душа его станет послушной и гибкой, они изберут этого сына богини в фараоны, вернут изгнанника на трон и будут продолжать царствовать в Египте от имени набожного и добродетельного Наркисса, внука Изиды и раба ее жрецов, и таким образом Изиды будет властвовать над Изидой.

И Наркисс вырос свободным посреди природы, в тени древних храмов: многие, многие сотни миль песков отделяли его теперь от Мемфиса. Святилище Осириса возвышалось у самых крайних границ пустыни. За третьим храмом начинался мертвый рукав Нила и область болот. Наркисс жил здесь, нагой, как дикарь, сверкая красотой и похожий на идолов, стоящих вдоль террас и балюстрад. Проходя, он прикасался к ним рукой. Они странно походили на него, отполированные веками, стройные и прямые, как и он, в своей окаменелой неподвижности, расцвеченные бирюзовыми скарабеями, вставленными в гранит их грудей. Они точно охраняли Наркисса, как одного из своих детей, и действительно, разве Наркисс не был тоже маленьким идиолом?

От Изиды он унаследовал большие мечтательные глаза, огромные глаза с черными, как ночь, зрачками, в которых дрожат вода ручьев и искры звезд. От Изиды он унаследовал длинное и узкое лицо, острый подбородок и священную, прозрачную и словно лучистую бледность, по которой посвященные узнают богиню и под ее покрывалами. Ночью, под высокими пальмами, раскачиваемыми ветром,

нагота его озаряла мрак, и анубисы с ястребиными головами улыбались на своих пьедесталах, когда, позвякивая длинными ушными подвесками, маленький фараон медленно и важно проходил мимо них. Наркисс всегда сверкал драгоценностями и был нарумянен, как женщины. Культивируя его страшную красоту, старые жрецы-евнухи, приставленные к его охране и задававшие целью изнежить его и создать из него будущего тирана, повиновались не столько приказанию главных жрецов, сколько тайному могуществу упоительного и рокового дара богов: в Наркиссе сосредоточилась вся красота целого народа.

Худощавый и гибкий, с прямыми плечами, тонким станом и сильно развитым торсом, он был узок в бедрах; под мышками у него был знак лиры, обозначающий Грацию и Силу. Три цепи, сплетенные из длинных жемчужин и шуршащих водорослей, все три разной длины, спускались от его пояса. К этому подвижному переднику он инстинктивно прибавлял былинки трав, цветы и листья, и когда, одетый в эти зыблущиеся драгоценности и влажные лепестки, он останавливался в сумерки на одной из разрушенных площадок храмов подышать ветром и посмотреть на пески, синеющие ночью, как море, весь оазис трепетал корнями старых деревьев, и для этого детского чела дыхание пустыни становилось сильнее, превращаясь в вольный ветер, и как бы приветствовало юного бога пустыни.

II

Днем он дремал, раскинувшись на циновках в высоких залах первого святилища: выложенные мозаикой и расписанные на высоте человеческого роста по золотому фону символами и иероглифами, стены светились в сумраке, точно покрытые сверкающей влажной эмалью. Тяжелые приземистые колонны, выкрашенные кармином, еще поддерживали своды, потолки обрушились только местами, и в трещины проникали лианы и гирлянды листьев. Кое-где в жи-

вительном свете солнца сталактитами свисали снопы цветов, и в них трепетали крылья и краски, а в косых лучах солнца кружились жужжащие мухи; облокотясь на груды подушек, полузакрыв ресницы под шелковистой лаской опахал, Наркисс смотрел, как струится в цветочных венчиках солнце, слушал, как гудят в тишине мухи, и перебирал зерна янтарного ожерелья или прижимал холодную чашечку лилии к своему влажному от румян лбу. И в удушливом зное долгого египетского лета маленький фараон проводил томительные, дремотные и скучные дни.

Они все походили один на другой, однообразные, бесконечные, удушливые и раздражающие от излишка ароматов и вялой праздности; таково было желание сонма жрецов Изиды.

Пищу его составляли рис и вареные травы, потому что жрецы опасались возбуждать его кровь. Наркисс не умел разбирать свитки папируса, которые днем и ночью изучали жрецы. Веки его были выкрашены сурьмой, зубы натерты суаком; он жил в полном неведении своего происхождения и своей судьбы. Днем и ночью за ним следило бдительное око воспитателей, днем и ночью уши их были настороже. Они заботились только о его красоте и невежестве и, как пресыщенный идол, Наркисс принимал поклонение и услуги внимательного и боязливого стада старых тюремщиков-евнухов.

Они редко приближались к нему, невольно волнуемые его страшной красотой; в нем текла кровь Изиды, и, повиная Верховному Жрецу, они смутно чувствовали, что совершают кощунство, изнеживая таким образом внука богов. А нагой Наркисс, как броней, одетый драгоценными камнями, содрогаясь всем телом от прикосновения холодных гемм, томился в жаркие часы дня, в полумраке разрушенных высоких зал, бессознательно плененный лучезарным хаосом цветов, изливавшихся в трещины сводов, с животной негой отдаваясь тайным ласкам своего тела, раскинувшегося на прохладных циновках, и жизнь его, лишенная всякого труда и движения, была праздной и пагубной жизнью молодого животного.

В эти часы его посещали иногда странные грезы, неожиданные образы вставали перед ним, видения, как бы напоминавшие о его небесном происхождении. Чтобы удержать их, Наркисс сжимал кулаки и смежал веки, поднимая подбородок и протянув губы к неведомой тайне поцелуя, и тогда раздавались звуки арф, нежные и сладострастные призывы флейт. Тихие аккорды, пробегавшие по струнам, как ласка, усиливали его экстаз, обрисовывали точнее его видения, и Наркисс просыпался, раздраженный, в судорогах... и каждый раз, при этих пробуждениях, из угла залы доносился испуганный шелест полотняных одежд, звенели заглушенные арфы, словно захваченные врасплох музыканты обращались в паническое бегство.

Жрецы, охранявшие ребенка, удвоили бдительность, но отдых в дневные часы все больше истомлял Наркисса; силы его гасли в гнетущей атмосфере этих знойных дней, и юный фараон несколько успокаивался только при наступлении сумерек, в час, когда пустыня голубеет от приближения ночи и прохлады. Наркисс выходил тогда из храма и, весь сверкая драгоценными камнями и цветами, удалялся на террасы. Он прогуливался там и ночью. Ночь приносила ему умиротворяющую прохладу, материнскую ласку. Божественная, как и он, ночь любила и утешала дитя. В знойные и ослепительные дни Наркисс инстинктивно чувствовал себя пленником в этих высоких залах, населенных, как призраками, музыкой и ароматами. Ночью он чувствовал себя свободным, вновь становился самим собой, и ночью он любил эти древние храмы, которые днем давили его, как страна изгнания... О, эти храмы! Они облекались такой красотой под чарами лунного света, в стальной синеве египетских ночей!

Неведомые здания вставали из их развалин: колонны выпрямлялись, портики удлинялись до бесконечности, на зыбких, как металлическое море, песках вырастали химерические, точно бронзовые, пальмы. И, насколько хватал глаз, между пустыней и Нилом тянулись ряды громадных сфинксов и анубисов с ястребиными головами; лестницы поднимались, вились спиралью, уходя неизвестно куда, дру-

гие спускались с террасы на террасу, и на каждой ступеньке стояли идолы с серебряными глазами, то погруженные в дремоту, то зорко смотрящие вдаль. Цветы походили на лица, в изгибах растений таились словно застывшие жесты, и терпкие острые ароматы оживляли Наркисса вместо того, чтобы усыплять. Прозрачная, как нефритовый шар, луна так мягко плыла по безмолвному небу, что Наркисс, смотря на нее, чувствовал, что замирает, как под медлительной лаской, широкой и глубокой, необъятной лаской, струившейся во всем его существе, как музыка или волна меда.

По ночам оживало и угрюмое безлюдье пустыни; гиены и шакалы, привлеченные отбросами после жертвоприношений, являлись к подножью развалин. Неслышной поступью они пробирались к подножью террас, и заросли оазиса наполнялись глухим шорохом. Потом блуждающий силуэт Наркисса увлекал их ближе к храмам, и желтые глаза их, как рассыпанные топазы, озаряли ночной мрак. Наркисс бесстрашно и пристально смотрел на них; иногда приходили тигры и даже львы, и ночь пропитывалась запахом хищников, а Наркисс смотрел и на тигра, и на льва.

Он чувствовал, что привлекает и очаровывает зверей, и пьянел от великой гордости, от великой силы, от сознания своего могущества.

За хищниками пришли женщины, закутанные в покрывала, стройные, медлительные фигуры с большими темными глазами, светившимися, как вода, под прозрачными тканями. Сначала поодиночке, одна за другой, потом группами по пяти, по шести, потом целой толпой, они подходили к подножью террасы и, залитые лунным сиянием, неподвижно подолгу смотрели на него — призраки то были или кочевницы? Наркисс тоже подолгу смотрел на них; они походили на видения его дремотных дней, они нравились ему до тех пор, пока они не поднимали покрывал, но когда широким движением, одна за другой, они откидывали покровы, превращавшие их в призраков, и показывали ему свои обнаженные животы, Наркисс презрительно отворачивался и больше не смотрел на них.

Они приходили несколько вечеров подряд: упорно возвращались в течение целого месяца. Жалобные стоны гиен и влюбленных женщин наполняли оазис. Потом однажды вечером они не возвратились. Изредка какая-нибудь закутанная фигура бродила под террасами две-три ночи, потом, истомленная бесплодным ожиданием, исчезала в песках. Бесстрастный Наркисс предпочитал меряться взглядом с дикими зверями; его жуткие глаза привлекали женщин и львов. Изида проявлялась и утверждалась в нем.

Изида! Наркисс никогда не видел себя. Если бы Наркисс мог видеть свой образ, он увидел бы лицо Изиды, а жрецы, желавшие управлять именем Изиды, но не желавшие подчиняться ей, опасались часа, когда Наркисс познает себя, и со дня на день отдаляли момент откровения. Узнав о своей красоте, фараон узнал бы и о своей силе, о своем происхождении и о своем могуществе. Надо было отнять у него всякую энергию до роковой встречи с самим собою, из фараона надо было сделать идола, а не царя. С этой-то целью его отняли у матери, удалили от народа и лишили советов вельмож.

Большие стальные зеркала, днем и ночью висевшие на колоннах храмов, священные зеркала, в которых Озирис и Изида по очереди любуются своей славой, Осирис — днем, а Изида — ночью, были сняты и унесены в подземелья. Честолюбие жрецов не остановилось перед этим святотатством, и под портиками, лишенными величественного отражения богов, Наркисс прожил пятнадцать лет, ни разу не видев своего образа. Он увидел бы в нем лучезарную красоту своей прародительницы и узнал бы о своем могуществе.

Его оберегали также и от вида кровавых жертвоприношений, при которых закалывали быков, посвященных культу Озириса. Вид крови опасен для сына богов; в нем проснулась бы жажда власти и убийства — вековое наследие царей. Для этих жертв, которые должны были остаться неизвестными фараону, был предназначен третий храм, самый древний из трех святилищ и самый разрушенный; фундамент его уходил в самый Нил, затянутый болотом, зло-

вонная тина которого теперь сгустилась от разлагающихся трупов жертв. Здесь, среди развалин двадцати повалившихся и заросших буйной листвой колонн, совершались теперь жертвенные церемонии; здесь, в жаркие часы дня, во время искусно удлиняемого отдыха фараона, единственный жрец, оставшийся мужчиной среди толпы евнухов, закалывал быков, баранов, а иногда и пленных, обещанных требовательному Апису, и мертвый рукав Нила загнил от крови. У четырех углов храма днем и ночью курились ароматы, чтоб отгонять миазмы, изгородь из кактусов и смоковниц защищала вход, по достаточно было и отвратительного запаха, чтоб отдалить ребенка от этого места, а, кроме того, жрецы запретили ему выходить за пределы второго храма.

Наркисс был равнодушен и горд, он обладал надменным безразличием невежественных людей и животных. Кактусовая изгородь казалась ему грозной и безобразной, от запретных развалин исходил запах гнили, а Наркисс любил аромат цветов, запах притираний и духов, блеск сверкающих гемм и холодную влажность больших мясистых лотосов. Наркисс не знал взгляда своих глаз и цвета крови...

Отняв от моего рта янтарный мундштук наргиле, Али, сидевший у моих ног, приподнялся с поклоном с груди ковров и подушек, на которых мы сидели за курением, он — рассказывая, я — мечтая. «Довольно курить сегодня, сади, уж сумерки. Это — час, когда пустыня голубеет, как в сказке о Наркиссе. Проедемся в оазис. Триполи красивее всего, если смотреть из оазиса на закате». — И это вся твоя сказка, в ней нет конца? — «Я доскажу ее потом. Ты очень бледен, ты слишком много курил. Надо подышать свежим воздухом. Лошади оседланы, Кудуар подъехал к воротам и делает мне знаки». — Я знаю. — «Я расскажу тебе потом, сегодня вечером, если хочешь, как умер Наркисс на берегу Нила, в развалинах третьего храма, среди лотосов и лилий, качающихся на набухших от крови стеблях».

III

Однажды ночью, бродя среди развалин, переходя из колоннады в колоннаду и с террасы на террасу, Наркисс незаметно дошел до ограды третьего храма. Кактусовая изгородь скрывала от глаз его фундамент и, под тяжелыми громадами портиков, высокие колонны зеленого мрамора, вдруг выросшие перед ним и словно не имевшие основания, казались призрачным зданием, чарами луны, миражом, внезапно расцветшим на песках. Наркисс вошел в храм. Сначала он чуть не лишился чувств: в храме царил душная атмосфера, насыщенная запахом крови и трупов, но в то же время и запахом цветов и ароматом курений. Лепестки лотосов и большого красного цветка, неведомого Наркиссу, покрывали мраморные плиты пола. Вокруг большого ониксового стола стояли бронзовые треножники; на них медленно горел нард, бензой и мирра, и длинные спирали голубоватого дыма вились, как покрывала, в теплом воздухе. Наркисс остановился: большой ониксовый стол местами был красен и влажен, как будто на нем раздавили снопы странных пурпуровых цветов, дождь лепестков которых так понравился Наркиссу. Стенки жертвенника были гладки и темны, но блестели, как вода камней его ожерелий, и, хотя жрецы вымыли его эссенциями, от всего жертвенника, в этом насыщенном ароматами воздухе, исходил своеобразный запах, от которого расширились ноздри Наркисса. Неведомое дотоле волнение зажгло его глаза, вздымало его грудь, сжимало сердце; ему хотелось бы навсегда остаться здесь, под этой высокой воздушной колоннадой, так смело высившейся в синеющем сумраке, остаться навсегда среди фиолетовых испарений треножников, среди этого аромата убийства, лотосов и фимиама. Он три раза обошел жертвенник, положил руки на влажный стол и невольно прижался к нему головой. Это несколько успокоило его. Но два треножника погасли, зловоние болота вдруг усилилось, трупный запах Нила пересилил в

храме запах цветов и курений, и, задыхаясь от ядовитых испарений реки, Наркисс вздрогнул и очнулся.

Спасаясь от запаха тины и гнили, он устремился к выходу; вдали, за колоннадой, блеснула вода, и оттуда доносилась свежесть и прохлада, словно выдыхаемая белыми цветами исполинских магнолий; казалось, то стоит белая стража, и юноша, неведомо для самого себя, спустился к Нилу.

Двадцать малахитовых глыб, двадцать расшатанных и покрытых пятнами мха ступеней вели к реке. Фараон спустился по ним, и здесь, среди двойного ряда сфинксов, полужащих под мягкими сводами лиан, внук Изида, не удивлявшийся ничему, скрестил руки на своем изумрудном ожерелье. Весь изумление и радость, внук Изида остановился, раскрыл рот, и восторг заглушил его крик.

Среди хаоса стеблей, листьев и цветов кишела жизнь, безумная, как страсть, и грозно вздымалась буйная, торжествующая, распаленная, гигантская и грозная растительность... Цветы крупней кистей фиников, стебли вышиной с пальмы, прозрачные травы, словно налитые лучистым соком, светящиеся аквамарин и нефритом, переплетались, как змеи, заканчиваясь венцами чашечек и лепестков, каскадами звезд; целые поля папирусов, испещренные осколками светил, венчики невиданных форм и цвета, одни прямые и твердые, как металл, другие — круглые и белые, бутоны чудесных лотосов, похожие на страусовые яйца и окруженные ореолом огромных листьев. И все это извивалось, перепутывалось, переплеталось, глушило друг друга, стремилось друг за другом и друг от друга убегало, четко вырисовываясь в бронзовом овале на бледной поверхности мрачного болота, показавшегося при лунном свете серебряным зеркалом.

В нескольких шагах оттуда виднелся полуразрушенный портик; фантастический силуэт его двоился в стоячей воде, и вместе с ним, среди папирусов и широких кувшинок, отражалась вековая лестница сфинксов. Выросшие на трупах стебли и венчики светились в тени странным голубоватым светом.

Сюда небрежные гиеродулы бросали после жертвоприношений изуродованные тела жертв. Осирису приносили в дар только голову и сердце быков и признаки мужского пола баранов и пленных. Отбросы и трупы тащили от жертвенника к старой лестнице и там бросали в тину реки, и гнилая вода ее была густа от крови. Мухи и москиты кишели на солнце, подстерегаемые жабами и отвратительными ящерицами с черепашьями головами. По ночам над этим страшным кладбищем тучами кружились летучие мыши и бледные светляки, и к этой-то клоаке, к этому-то цветнику, выросшему на убийстве и крови, привела маленького фараона божественная мечта.

Он уже не чувствовал отвратительного дыхания этого кладбища, не видел мерзкой гнили трупов животных, лежавших поперек ступеней, заснувших на листьях гадов, змей, обвинившихся вокруг слишком зеленых стеблей, — среди гнилых древесных стволов и фосфоресцирующих цветов мальчик ничего этого уже не видел.

Широко раскрыв восторженные глаза, раздвинув пальцы и вытянув прямо перед собой ладони, Наркисс в упоении спускался к реке. Вокруг него хрупкие ирисы, женственные лотосы и бесстыдные арумы, янтарными фаллосами торчавшие из белоснежных рожков, светились нефритовыми, опаловыми и берилловыми огнями. В лунном отблеске светляки казались блуждающими в ночи драгоценными камнями, змеи блестели на листьях, как разлитая эмаль. Вдали расплавленным металлом сверкал Нил, и в этих чарах мрака и воды, гниения, цветов и листьев, таинственного и зыбкого узора, вытканного ночью и питательными соками растений, ослепленный Наркисс видел лишь один цветок, неожиданный, неведомый цветок-грезу, длинный, гибкий, с жемчужным отливом стебель, колеблющийся ритмическим движением; и прелестный венчик его, имевший форму человеческого лица, улыбался по мере того, как Наркисс приближался к нему, и смотрел на него человеческими глазами, поднимаясь все выше и выше к нему.

Странный цветок Нила, — он всплыл при его появлении между листьями кувшинок и шелковистыми стеблями папируса. Цветок... может быть, это было скорее какое-нибудь водяное божество, неведомое в Мемфисе и царящее в этой малоизвестной местности? Человеческое существо не могло бы жить в воде, в этой грязи, в плену у лиан и камышей... Быть может, это какая-нибудь дочь царя, околдованная демоном, потому что, как и он, она сверкала драгоценностями... Дорогие украшения и цветочные гирлянды тихо шевелились, спадая с ее бледных бедер, у шеи ее вспыхивали светлые огоньки, и, как и у него, на голове странного существа красовалась диадема из трех эмалевых обручей, соединенных между собой маленькими золотыми лотосами и бирюзовыми скарабеями... Как и у Наркисса, к правому плечу видения присосалась металлическая змея, хвост которой обвивал всю его руку до тонкой кисти, и правая рука его, как и у Наркисса, горела блеском дорогих перстней. Но ярче и прозрачнее всех гемм на челе и пальцах светились между веками два живых огромных глаза, синие, как вода ночью, и, не выдав их никогда раньше, Наркисс узнал жуткие и пристальные глаза волшебного образа, явившегося перед ним. Фараон упал ниц на ступенях, и внук Изиды поклонился Изиде.

В тинистых недрах речного кладбища цветок с лицом человека все продолжал улыбаться.

Тогда Наркисс поднялся — и, сложив руки, устремив глаза на призрачное видение, в экстазе, фараон шагнул с последней ступени лестницы сфинксов и ступил в болото.

Туша зарезанного быка, гнившая на ступени, подалась на секунду под его обнаженной ногой, струйка розовой крови брызнула на тину, развернулась потревоженная во сне змее. На поверхности воды, залитые голубым светом поцелуев великой богини, сияли во мраке белоснежные арумы и перламутровые кувшинки.

На другой день, при первых лучах зари, жрецы Осири-са нашли юного фараона мертвым, погруженным в тину, среди трупов и гнили, накапливавшейся веками. Наркисс

стоял в тине, задохнувшись от гнилостных испарений болота, погруженный до шеи в клоаку, но голова его возвышалась над зловещими цветами, распустившимися вокруг него, как корона. И, как прелестный цветок, его бескровное и нарумяненное лицо, юное лицо, с увенчанным эмалью и бирюзою челом, устремлялось вверх из тины, и на этом мертвом челе, распластав крылья, спали ночные бабочки.

Изида признала Изиду, Изида призвала к себе кровь Изиды.

Так умер в светлую июньскую ночь Наркисс, внук великой богини и властитель египетского царства.

ИЛАД

Пусть будут ложью твои сказки, —
Мечтаний прелесть их переживет.

Уже несколько часов шел он по пыльной дороге; камни царапали и ранили его нежные ноги. Он бежал из дворца, как во сне. Спеша за негритянкой, открывшей ему двери, он радостно спускался по темным лестницам, спиралью извивавшимся в влажной громаде скалы, и не обратил внимания на тяжелые браслеты, которые теперь впивались в его щиколотки. Охваченный радостным ощущением свободы, он побежал вперед по широкому, безмолвному и унылому полю, замершему в удушливом зное августовского дня; но теперь, при виде этой залитой солнцем пустынной равнины, среди однообразной и тусклой дремоты оливковых рощ и необъятных полей с побуревшими колосьями, свобода эта пугала его.

Сначала он бежал, приподняв свою синевато-фиолетовую одежду с длинной золотой бахромой, ударявшей его по ногам. Потом чело его побледнело, губы пересохли, и он медленно брел по равнине. Филигранные браслеты на ногах звенели и с каждым шагом глубже впивались в тело; пот крупными каплями струился по его щекам, ткань широкой туники прилипла к влажным плечам, а длинные черные волосы, с которых упала диадема, запылились и спадали на его глаза, в первый раз омраченные страданием.

Куда он шел? Он сам не знал, так как никогда, с самого раннего детства, не выходил из высоких зал дворца, выложенных мозаикой и освежаемых фонтанами ароматной воды. Он покидал их только иногда по вечерам, когда, под охраной двух чернокожих евнухов, выходил на террасу и, опершись на балюстраду, среди богов с ястребиными головами, долго смотрел, как за Сиренаикскими горами садилось солнце.

И здесь, однажды вечером, любуясь в сумерки траурной пышностью упадающего за горизонт солнца, он в первый раз услышал чудесный голос, зазвучавший в его душе. Небо зеленело голубоватым отливом бирюзы, солнце давно уже скрылось за высокой фиолетовой стеной гор, а их освещенные хребты еще блестели в розовой тени, такой же розовой, как его нарумяненные ступни, и голос заговорил о неведомых странах и о дремучих лесах, о студеном ключах в сумраке больших рощ, звенящих от песен и смеха. Тогда мальчика охватило отчаяние от того, что он живет взаперти под расписными сводами царского замка, и безумное желание увидеть вновь эту далекую страну. Он вспомнил, что знал ее в иные времена, и полюбил слушать таинственный голос.

Перед ним вставали леса, зеленая прохлада, сквозь которую, играя по листьям, пробираются яркие лучи; большие голубые цветы, подобные тем, что иногда приносили истомленные гонцы и чьи душистые чашечки, орошаемые днем и ночью, медленно увядали в вазах; эти голубые цветы гирляндами колыхались в воздухе, обвивая огромные деревья в певучей и ароматной тени высоких говорливых камышей, в таинственной сени лесов, населенных птицами и мелькающими фигурами... И видения эти вырастали с деспотической властью, преследовали мальчика и настойчиво возвращались каждый вечер, в час, когда, выйдя из бани на террасы священных портиков, он облакачивался на порфиновые и яшмовые подножия бронзовых, четырехгранных колонн, перевитых золочеными пальмовыми ветвями.

И, наконец, он бежал, с радостью воспользовавшись первым представившимся случаем. Когда негритянка, приложив черный палец к улыбающимся белой эмалью губам, вошла в низкий покой, где он дремал, и безмолвным жестом указала ему на большое окно с металлической решеткой, сквозь которое виднелись песчаные равнины и высокие горы, клубившиеся вдалеке, как облака пыли, он не испытал ни изумления, ни испуга, а молча встал, доверяя этому жесту, показывавшему ему и страну, о которой он

мечтал, и желанное бегство, и, с улыбкой на устах, доверчиво последовал сквозь усыпальницы и подземелья за доброй вестницей свободы.

Где же он находился теперь? Он оборачивался назад, но царская цитадель, где протекло его детство, исчезла, стерлась с горизонта, как узоры из цветного песка, которыми руки рабов каждое утро разрисовывали плиты дворца. Исчезла цитадель и высокие стены, на которых возвышались храмы, исчезла отвесная скала с блестящими и гладкими скатами, за которые, подобно гигантским летучим мышам, цеплялись красные кирпичные башни дворца, и башня Лебедей, и башня Геркулеса, и башня Астарты, где была его спальня, — облицованная зелеными и розовыми изразцами, блестящими и переливчатыми, как драгоценные камни, с широким окном, зарешеченным копьями и выходившим на бездонный обрыв.

Все исчезло, растаяло, как воск от сильного зноя, под ослепительным блеском белого неба; колосья шуршали на нивах, и в безмолвии, заглушаемом треском стрекоз, мальчик бежал по направлению к горам, истомленный усталостью, запыленный, с окровавленными ногами, похожий в сверкающей камнями фиолетовой одежде и в тяжелых браслетах, давивших его обнаженные руки, на маленького идола, бежавшего из своего храма. Неужели же голос солгал, тот голос, что обещал снопы голубых цветов и мшистые ковры в тени высоких деревьев? И отчаяние, и ужас беглеца возрастали с каждым шагом, потому что с каждым шагом Серенаикские горы неизменно отступали, как бы убегая от него.

Белое небо покраснело; огромным пожаром пылают горные хребты; воздух посвежел. У подножия высоких шелковистых и шумливых камышей, под длинными серебристыми султанами, перевитыми зеленой лентой листьев, мальчик опустился на землю; его помертвевшие от усталости руки раскинуты на мху, и кровь струится из его побелевших теперь ног, погруженных до щиколотки в холодную воду ручья. Большие синие ирисы, с светлой искрой, мерцающей во влажном цветке, трепещут, как крылья, от ве-

черного ветерка, и рой однодневок дрожит и гудит, как горсть пшеницы, которую провеивают на решете. Голос не обманул, мечта мальчика осуществилась, и тени гор с материнской лаской окутывают его, как прохладным плащом.

Измученными и восхищенными глазами Илад* любит-ся окружающей его картиной и с упоением юного бога, обретшего наконец, после долгого изгнания, Олимп, он узнает страну, которую мимолетно видел и предчувствовал в своих снах.

Но вместе с тем его сердце гнетет и терзает сожаление, сожаление о старом дворце, где он, царский сын, хотя и веч-ный раб, вырос в неизвестности, во влажном тепле аромат-ных бань и в прохладном безмолвии больших зал, вымо-щенных мраморными плитами и устланных цыновками. Днем и ночью в широких водоемах звенели прозрачные струи, и, отдаваясь заботам евнухов и купальщиков с неж-ными, как у женщин, руками, он проводил долгие дни, по-лунагой, под покрывалами, окрашивая сурьмой ресницы и натирая ароматами лицо и руки: то были египетские ру-мяна и редкие эссенции, летучие и дурманящие, с боль-шим трудом привозимые из далекой Азии в серебряных кувшинах. По вечерам старый маг с головой хищной пти-цы садился возле него и рассказывал ему сказки. В них го-ворилось только о любви между богами и людьми; прекра-сные, как заря, герои скакали на драконах и переплывали моря, стремясь освободить нимф с глазами цвета морской волны, которые были принцессами; молния превращалась в этих сказках в лебедя, чтобы соблазнить царицу; луна сходила с неба для того, чтобы поцеловать в уста спящего пастуха, и голоса пели под водой, завлекая в объятия смер-ти белокурого эфеба, которого звали, как и его, Иладом. Илад в особенности любил эту последнюю сказку. Может быть, голос, вызвавший его из цитадели в прохладу этих неведомых мест, хотел похоронить и его в ручье? Но ра-дость мальчика от возможности дышать вольным воздухом

* У автора — Hylas (Гилас); так звали похищенного нимфами и бесслед-но исчезнувшего воспитанника и возлюбленного Геракла (*Прим. ред.*).

вдали от высоких стен, где томилось в плену его детство, была так велика, что он забывал о своих смутных страхах и невольно улыбался. Он думал об уроках музыки и танцев, от которых избавился на завтра и на следующие дни, потому что каждое утро, вымытый, надушенный и причесанный, как женщина, он выходил к двум пленным грекам и, под беспокойными взглядами евнуха, они учили его, один — петь стихи, играя на лире, а другой — танцевать под музыку, запрокидывая торс и поднимая тунику, как куртизанка.

Мальчик ненавидел эти уроки.

Как странна была его жизнь в этой пышной и угрюмой тюрьме, и какой судьбе готовили его таким воспитанием? Иногда, не больше одного или двух раз в месяц, к нему вихрем врывались чернокожие люди с повязанными вокруг бедер передниками и, беспорядочно толкаясь, распрострались ничком на земле перед высоким человеком, в расцвете лет, шагавшим по человеческим телам, покрывавшим пол, как живой ковер. То был необычайно красивый человек, странно бледный, с черной, сильно вьющейся бородой, блестящей от ароматов. Янтарные, изумрудные и нефритовые ожерелья звенели на его груди, длинные зеленые камни дрожали в его ушах, как слезы, а из-под коричневых век, тоже окрашенных сурьмой, сверкали суровые глаза, полные безбрежной скуки. Над черными, завитыми волосами его возвышалась тиара, и мальчик боялся этого отягченного драгоценностями человека, который подолгу смотрел на него, не говоря ни слова, иногда ласкал его, положив на шею руку, тяжелую от колец, потом уходил так же безмолвно, как и пришел.

Другие называли его царем. Царь! — и глаза их загорались тревогой, а голоса дрожали от страха; царь всемогущ. Этот человек мог все: вот почему Илад бежал!..

УМИРАЮЩИЙ ДЕНЬ

Памяти Жана Ломбара

Торжествующая толпа пронеслась по дворцу, и под высокими, опустевшими куполами, освещенными желтым и сияющим светом цветных стекол, местами краснели влажные и блестящие лужи крови; кровавые следы уходили дальше, в глубь галерей.

Глубокая тишина повисла над Гебдомоном; мертвое безмолвие прорезывалось лишь отдаленными криками, радостными воплями партии Зеленых, которые, может быть, истребляли Голубых где-нибудь в расположенном на высоте городе или осаждали патриарха в Святой Софии, отданной во власть ненависти Калогеров.

Дворец, за несколько минут до того наполненный презренной и пестрой толпой рыбных торговцев, лодочников из Золотого-Рога, носильщиков, цирковых конюхов, сбежавшихся сюда вместе с православными мятежниками, сирийцами, евреями в черных плащах и даже кочевниками, обутыми в сандалии, прикрепленные к икрам соломенными бечевками, спасся от разграбления. Разъяренный народ жаждал убийства, резни, и, не обращая внимания на сокровища, накопленные в течение многих веков Юстинианами и Феодосиями, разливался по Византии, алча казней, пьяный от убийств и обезумевший от извечной ненависти и жажды мести.

То была анфилада высоких пустынных зал: одни тонули в дремотных драпировках, затканых золотыми и зелеными цветами, другие снизу доверху были расписаны иконами, и громадный Иисус, одетый в розовую тунику, усеянную жемчужными крестами, торжественным движением благословлял павлинов, ягнят и единорогов, толпившихся в причудливой листве среди прыгающих пантер. Дальше виднелись исполинские Богоматери в сверкающих камнями мантиях византийских императриц и изумрудных и руби-

новых коронах, громадным ореолом окруживших их невинные и ясные лица. Священные изображения достигали до сводов, и вокруг Непорочной Девы в опаловом мерцании розеток толпились неисчислимые головы Ангелов и Херувимов, родившихся на фоне крыльев всех оттенков радуги, драгоценной мозаикой покрывавших цементные, загрунтованные золотым лаком стены. И повсюду, в сводчатых коридорах с ниспадающими драпировками, еле озаренных тусклым светом цветных стекол, и в залах с полукруглыми арками под куполами, расписанными лучезарными евангельскими ликами, были нагромождены редкостные и драгоценные предметы, поблескивавшие вспышками метеора: канделябры и паникадила, кресла с металлической инкрустацией, изукрашенные перламутром и слоновой костью евангелия, раки, окованные серебряными и золотыми листьями, ларцы из листовой меди, униженные драгоценными камнями, изумительные ковчеги с мощами. Все это неясно мерцало в таинственном безмолвии бесконечных покоев, вдруг открывшихся за откинутыми на серебряных прутах драпировками. И в пышной заброшенности этого дворца, опустевшего от невообразимой паники среда бела дня, местами, у подножия яшмовых и порфировых колонн или под аналоем какой-нибудь иконы, вырисовывалась человеческая фигура, запрокинутая в складках хламиды, — какой-нибудь копьеносец, задушенный мятежниками, или евнух в зеленой одежде, вытянувший окоченевшие ноги. Во всем Гебдомоне трупы лежали по одному или по два в каждой зале: стражи в чешуйчатых железных кольчугах, слуги, закутанные в широкие складки, все с красными ранами на шее или с боку, из которых сочилась кровь. И красные, влажные и блестящие пятна умножались до бесконечности под высокими сводами и мозаикой потолков. Эти пятна и трупы, вместе с блеском обломанного меча или увенчанного золотыми лаврами шлема, были единственными следами бурного натиска Голубых, прорвавшихся по жилищу Базилевса Автократа.

Снаружи, под неумолимо-чистым небом восточных гор, умолкли мятежные вопли. Шум погас и, нежно при-

поднимая велумы фиолетового шелка, свежий ветерок, прилетевший с Золотого Рога, порхал под портиками, проникая во дворец, а вместе с ним вливался одуряющий аромат лавровых деревьев и гелиотропа из императорских садов, террасами спускавшихся к морю.

В эту минуту маленькая, круглая и курчавая головка, с черным и курносым лицом, освещенным широкой, сверкающей белизной зубов улыбкой и как бы прорезанная двумя большими эмалевыми глазами, нерешительно поднялась из-под кучи тканей, целого потока затканых золотом шелков, грудой наваленных на высоком ларце из сандалового дерева. Голова осторожно оглянулась, потом медленно выпрямился опиравшийся ладонями на плиты пола худенький торс цвета старой бронзы, и мальчик, поднявшись на ноги, быстрым взглядом окинул длинную анфиладу зал.

То был маленький негритянский невольник, родом из Кробатии, служивший на царских кухнях. Во время нападения черни на Гебдомон и избиения слуг, он в испуге поспешно вбежал из помещений прислужников в комнаты высших чинов дворца, и там, прижавшись ничком в углу полутемной залы, спасся от не заметившей его разъяренной толпы. Теперь, насторожив уши, стройный и обнаженный, готовый при малейшем шуме прильнуть к полу, чернокожий мальчик с бесконечными предосторожностями ходил по высоким безмолвным покоем. Любопытство маленького зверька заставляло его обнюхивать и ощупывать каждый труп, но вскоре он перестал останавливаться возле них. Он даже обходил их, чтобы не прикоснуться к похолодевшим уже телам, и, когда случайно очоленевший труп преграждал ему дверь, он сгибал маленькие босые ноги и, подскочив, перепрыгивал через него.

Вдали, Византия по-прежнему была спокойна. Непонятная и таинственная мертвая тишина окутывала город, и мальчик продолжал свою одинокую прогулку по Гебдомону, тараща глаза на великолепных Иисусов и Богородиц, уже равнодушный к мертвецам. Так дошел он до трехстворчатой двери, закрытой высокой, свисающей донизу драпи-

ровкой из толстой фиолетовой парчи, затканной матовыми золотыми и серебряными цветами, и, приподняв ее, остановился.

Здесь трупов было слишком много.

Освещенная льющим с высокого купола светом, перед ним раскрывалась круглая зала, в глубине принимавшая форму раковины и украшенная волшебной мозаикой. Малахитовые, ониксовые и сардониковые розетки чередовались с огромными вделанными в стены павлинами из драгоценных камней; местами большие сердоликовые лилии снопами поднимались к своду, и пять яшмовых ступеней, идущих полукругом в глубине залы, вели к выгнутому раковиной углублению, покрытому на выступах сплошным слоем перламутра. На верхней ступени стояло странное кресло, совсем прямое, с бронзовыми ручками и спинкой в форме тиары; вокруг него волнами спадали складки пурпуровых и фиолетовых, как бы застывших в серебре тканей, поддерживаемые золотыми орлами.

И от порога двери до ступеней трона тянулась груда трупов; зал был полон ими. Они лежали, так плотно прижавшись друг к другу, что среди них негде было ступить ноге ребенка.

Ближе к двери, как скошенный камыш, лежал ряд упавших ничком евнухов в длинных одеждах из зеленого шелка; за ними пестрели расшитые изображениями библейских сцен мантии убитых игуменов и архимандритов и местами, соскользнув с мертвых голов, виднелись остроконечные уборы с перьями цапель и расшитые жемчугом шапочки священнослужителей и важных сановников.

Они все пали, сраженные сзади, и громоздились возле трона, к которому устремились в первые минуты бегства. Стустки крови створаживались на дряблых и вялых телах оскопленных прелатов и жирных вольноотпущенников, на толстых, вздутых животах и широких крупах евнухов, выпиравших из-под тканей и, казалось, готовых лопнуть от удара ноги.

Подобно перезрелым арбузам, эти пузатые трупы лежали грудой во всей зале и на ступенях трона. Здесь, среди не-

подвижного переплета высоких копий и широких золотых мечей, как цветущие исполинские лилии, сплошной гека-томбой лежали, выставив вперед грудь и запрокинув головы, поверженные навзничь телохранители Императора. Они пали, сражаясь тесными рядами вокруг трона, и их суровые лица, перерезанные щетинистыми усами, их широко раскрытые под ободками шлемов глаза, громче, чем залитые кровью кольчуги, говорили об их героической кончине. И над всеми этими убитыми и уже начинавшими издавать трупный запах телами, в удушливом сумраке этой таинственной и немой залы, местами вспыхивавшей бледными отблесками, тронное возвышение представляло резкий контраст своей пустотой.

В эту минуту вокруг Гебдомона поднялись страшные крики, ужасающие вопли торжества, точно несущиеся из всех кварталов Византии. Они длились, повторяемые разбуженным эхом галерей, и чернокожий мальчик инстинктивно бросился вон из залы, к одному из широких окон наружного портика, и тут увидел и понял, почему трон был пуст под высоким куполом, полным неподвижных трупов евнухов, монахов, святейших епископов и солдат с львиными лицами.

Внизу, у подножия Ипподрома, выделяющегося на лазурном фоне Золотого Рога овалами своих галерей, прорезанных колоннами и населенных изваяниями, простиралась площадь, кишущая ревущей и пестрой толпой, непрерывно вливавшейся каждую секунду из-за углов улиц и с четырехугольных площадей. И всюду, на террасах домов, на балюстрадах, окружавших купола церквей и даже на девяти главах храма Святой Софии, как исполинский часовой вздымавшегося у подножия стен императорского дворца, в янтарной тени сумерек колыхались шарфы, чернели поднятые руки и бесчисленные головы, и тысячи пронзительных криков сливались с ритмическими рукоплесканиями.

От края набережных Золотого Рога, тянувшегося на ярком горизонте, как море из жидкой ляпис-лазури, до террас ближайших домов, сероватыми кубическими громада-

ми выстроившихся у подножия садов Гебдомона, рычал и кишел в безумной свалке опьяневший народ. Мужчины, женщины и дети, толкаясь, взбирались на карнизы, беспрядочно выделялись знамена и кресты; и все глаза смотрели на Гебдомон, и все руки восторженно простирались к Ристалищу. Какой-то человек из простонародья, с лицом тигра, поднялся на мраморный пьедестал конной статуи Юстиниана. С выпачканными по локоть в крови руками, похожий на мясника, человек этот взбирался по чешуйчатым золотым сапогам бронзового императора, а другие окровавленные руки протягивали ему снизу огромную чашу, в которой плавал странный цветок. Человек с звериным лицом поднял эту чашу к голубому небу и со смехом поднес ее Юстиниану.

Толпа громко вскрикнула, а маленький негритенок уцепился за шелковый занавес, чтобы не упасть.

В чаше, поднесенной основателю царской династии, он увидел закатившиеся и печальные глаза, презрительно раскрытый и стянутый в углах нечеловеческой болью рот, и узнал бескровную голову Августы.

Мрачная, с разметавшимися волосами, она как будто плакала кровавыми слезами, и мертвое чело ее еще сияло сапфирами и сердоликами императорской диадемы.

ЛЕГЕНДА О ТРЕХ ПРИНЦЕССАХ

Посвящается Маргарите Морено

Их звали Тарсила, Аргина и Блисмода. Все три были от разных матерей, но походили друг на друга длинными и узкими ступнями, беспокойной гибкостью и подвижностью пальцев и перламутровой прозрачностью кожи, точно пронизанной бледной лазурью голубых жилок: черты эти присущи древним королям-викингам, бывшим язычникам, но теперь обращенным в христианство, и три принцессы были последними цветками, расцветшими на этом древнем стволе.

Но Тарсила отличалась от сестер миндалевидными синими, почти черными глазами, тяжелыми темными косами, всегда умащенными душистыми маслами, и чрезмерным пристрастием к ароматным эссенциям. У Аргины были серые, пронзительные орлиные глаза под тонкими бровями, точно нарисованными кисточкой; волосы ее были так светлы, что казалось, будто голова ее покрыта старинной выцветшей позолотой, и всегда сверкали рубинами и яхонтами; она ходила, как бы сгибаясь под тяжестью причудливых языческих украшений, к которым испытывала странное влечение. Младшая же, Блисмода, с рыжевато-русскими кудрями и большими фиолетовыми глазами, мерцавшими, как капли росы, под тонкими веками с длинными ресницами, любила только цветы и лебедей старинных парков с золотыми кольцами на гибких шеях.

Тарсила любила пышную парчу и шелковые ткани, затканые серебром и жемчугами, Аргина — пурпурные материи, алый атлас, пунцовую парчу и длинные зеленые платья, в которых как бы отражаются неясные переливы волны. Блисмода же носила только белый мягкий и гибкий шелк, едва расцветченный тонкими золотыми арабесками. И все три, воспитанные в строгости старым воинственным и подозрительным королем, никогда не выходили за огра-

ду дворца, где ждали, равнодушные и надменные, царственных женихов, избранных для них отцом, распевая у аналоя старинные латинские сказания или вышивая в длинные зимние вечера повязки для Пречистой Девы или церковные воздушы.

В долгие летние дни три принцессы обыкновенно уходили в плодовый сад своего отца и там спали под тенью старой яблони, покрывающейся в апреле розовым снегом, а в августе — зеленым золотом. Плодовый сад, расположенный в конце парка, был окружен высокими стенами, трава его пестрела фиалками и жонкиями, и посреди их венчиков, под гудение дрожащих в воздухе пчел, Арсила, Аргина и Блисмоды тихо засыпали в тени старой яблони.

Они спали, положив голову между корнями дерева, и далекие клумбы, цветущие желтыми лилиями, огромными ангеликами и пышными розами, посылали им с поцелуями ветерка чарующие сновидения, рожденные душою цветов. Снаружи, за стенами, их охраняла стража, но никто из часовых не видел лица принцесс; им прислуживали слепые пажи и, кроме этих замкнутых, окаменевших лиц, три дочери короля во всю жизнь свою не видали ни одного мужского лица.

Да, ни одного, кроме сморщенного лица дряхлого садовника царского парка, знакомого им с первых дней детства. Это было жалкое существо, разбитое и согбенное годами, почти впавшее в детство, и король мирился с его присутствием в заповедной ограде. Он жил на краю сада в полуразвалившейся лачуге, лепившейся у стены, а недалеко от нее находился старинный колодец с позеленевшим срубом и низенькой аспидной крышей с железными украшениями; его необычайно холодная и прозрачная вода часто привлекала сюда трех принцесс. Им нравилось поднимать ведра из старого колодца, слушать визг журавца и цепей, и, напившись всласть ледяной воды, они иногда подолгу стояли, склонившись над зияющим углублением, и тревожно вслушивались в гулкое эхо, разбуженное их словами. Потом разбегались, шелестя платьями, за корявые

стволы яблонь, а старик, вышедший на их крики из своего убогого жилища, думал, что видел странный сон.

В один особенно жаркий июньский вечер они были поражены необычайной встречей у колодца: незнакомый молодой человек, стройный и тонкий, как дитя, стоял, прислонившись к колодцу. Почти нагой под холщовыми лохмотьями, покрывавшими его от пояса до колен, он ослепил и Тарсилу, и Аргину, и Блисмоду лучезарным блеском своей красоты; он был высок и гибок, с широкими плечами и мускулистыми обнаженными руками, скрещенными на груди, а сквозь распахнутый ворот грубой рубашки виднелась крепкая шея. Обожженная солнцем кожа юного атлета повсюду золотилась нежным пушком. Небрежно закинув одну на другую бесподобной красоты ноги, гордый, как молодое животное, он повернул к принцессам маленькую взлохмаченную голову с нежным лицом, обрамленным тяжелыми золотыми кудрями, и устремил на них лукавый и вместе очаровательно-томный взор.

Три принцессы растерянно зажмурились под глубоким взглядом его изумрудных глаз. Красивым движением он вытянул из колодца ведро и предложил принцессам напиться; потом, когда его позвал голос из лачужки, поклонился, по-прежнему не говоря ни слова, улыбнулся и исчез, оставив на краю сруба три только что срезанных цветка: синий ирис, красный мак и асфodelь.

Тарсила взяла ирис, Аргина — мак, а Блисмоду — лиловатую кисть цветущей асфodelи. И в ту же ночь все три принцессы увидели сон, и в этом сне, до странности одинаковом у всех трех, каждая из них прогуливалась в таинственном лучезарном саду и встречала легко прислонившегося к бронзовой чаше бьющего фонтана божественно-прекрасного незнакомца, нагого, как Эрот; и этот Эрот, с завязанными глазами и двумя павлиньими хвостами, как яркие крылья трепетавшими за его плечами, с улыбкой дарил им цветы.

На следующий день Блисмоду, Аргина и Тарсила снова пришли в плодовый сад своего отца, и под вечер робко направились к старому колодцу, но не нашли там незна-

комца. Он был внуком старика-садовника и пришел из далекой деревни, чтобы поступить в королевское ополчение; солдаты короля на заре увели его с собою. Тогда Тарсила, у корсажа которой благоухал синий ирис, впала в смертельную тоску.

Она слабела с каждым днем, и встревоженный король, по совету чародеев, решил отправить принцессу в лесную и горную местность; Аргина и Блисмод последовали за сестрой. Древняя, полуразрушенная цитадель, возвышавшаяся над тридцатью милями лесов и пятьюдесятью милями снеговых гор, сделалась дворцом изгнанниц. Под сводами моста, перекинутого через обрыв, как кузница, грохотал поток, и шумный хвойный лес гудел, как орган, на глубине двухсот футов под зубцами стены, к которой по вечерам приходили прекрасные мечтательницы. На горизонте пылающим заревом или холодной сталью алели и голубели горные ледники.

А темнокудрая Тарсила с томно-голубыми глазами бледнела с каждым часом и не выздоравливала. Однажды ночью, когда бессонница мучила ее сильнее обыкновенного, она сидела у окна, устремив взор на далекие звезды и страдая от пустоты в сердце. Вдруг она вздрогнула от звуков песни, бубна и скрипок, донесшихся из леса. То проходили с музыкой цыгане, и среди голосов, подхватывавших хором неясный припев, один особенно манил ее, чарующе-чистый и нежный голос, которого она никогда не слыхала, но который все же узнала. Голос давно уже умолк, а она все еще слушала его: холодная заря застала ее у окна, склонившейся над лиственницами обрыва.

Наутро принцесса искусно стала спрашивать сестер о музыке, которую слышала ночью. Аргина и Блисмод взглянули на нее с изумлением; но, когда через несколько времени принцессы случайно узнали, что внук садовника, юный красавец, встреченный ими в парке, бежал из армии короля к цыганам, Тарсила ни минуты не сомневалась, что слышала голос наяву, а не во сне. Печаль ее еще усилилась, и, наконец однажды утром, войдя в ее опочивальню, служанки и сестры не нашли ее там. Что случилось с больной мечта-

тельницей? Все поиски были бесплодны: она растаяла, как дым.

Так исчезла Тарсила, старшая темнокудрая дочь старого короля.

Аргина и Блисмод тщетно уверяли отца в своей невиновности, им так и не удалось оправдаться в его глазах. Обе впавшие в немилость принцессы были отправлены в далекий сельский монастырь ордена святой Клары, расположенный на краю государства, на высоком плоскогорье, среди утесов, отвесной стеной окаймлявших море. То была пустынная и суровая страна, поросшая терновником и вереском, с угрюмыми равнинами, вечно бичуемыми западными ветрами, и серое, низкое небо давило ее, как тяжелая крышка: страна с редким солнцем, словно населенная призраками, носящимися в тумане и буре.

Единственным развлечением двух изгнанных принцесс, в промежутки постоянных молитв и церковных служб, были прогулки среди терновника и вереска, в сопровождении шествующих попарно монахинь. Иногда они доходили до края утеса и, склонившись, смотрели, как на глубине двухсот футов несчастные каторжники дробили камень, со страшными усилиями пробивая канал в закаленной морем скале. Сверху люди казались им не больше мизинца; они работали среди тумана и пены, с обнаженным торсом и руками, и обе принцессы смутно вспоминали прекрасное нагое тело юноши, встреченного когда-то в плодовом саду, и их приходилось почти насильно отрывать от этого печального зрелища.

Однажды летом, придя развлечься на край утеса, они изумились, не увидев внизу партии работавших каторжан; но вместо них, среди скал, виднелись группы мужчин с белыми и упругими телами, — варвары сушились на солнце; другие плавали, наполовину поглощенные волнами, и усилиями мускулистых рук сверкающие торсы их поднимались над водой... Ряд кораблей неподвижно стоял в открытом море; пираты бросили якорь и наслаждались купаньем.

Испуганные монахини хотели поспешно вернуться в монастырь, но Аргина и Блисмоды не могли оторвать глаз от прекрасных нагих язычников, и Аргине казалось, что она узнает одного из них, самого стройного и красивого, с длинными, блестящими на солнце волосами, — очевидно, начальника. Наутро рассерженная настоятельница, войдя в келью Аргины, не нашла в ней принцессы. Аргина исчезла, как раньше Тарсила.

Король поспешно перевез Блисмоду во дворец и запер ее в самой высокой башне. Принцессу мучили странные предчувствия. Рассказывали, будто смелый пират завладел страной и быстрыми переходами приближается к городу, который хочет осадить с бесчисленной ордой язычников. Ходили слухи, будто в военных колесницах он везет двух плененных принцесс, счастливых своим пленом, двух влюбленных цариц, ради него изменивших и родине и семье. Никто не называл их имени, но Блисмоды чувствовала, что это ее сестры, как угадала, что красавец-пират с золотой гривой был дивным белокурым юношей, оставившим на срубе колодца цветы асфодели, мака и ириса.

И действительно, вскоре палатки неприятельского лагеря окружили городские стены, и Блисмоды, поблекшая в своем заточении, проводила теперь дни на вершине башни, призывая поражение своих родичей и в то же время опасаясь победы, которой она была бы трофеем. Но осада затянулась. Город, получавший припасы через потайные подземные ходы, не боялся голода, и в один прекрасный осенний вечер, окутанная бирюзовыми сумерками, Блисмоды тихо угасла на руках своих прислужниц, устремив широко раскрытые глаза на лагерь язычников и прижимая к сердцу засохший цветок асфодели, цветок жестокого Врага, прекрасного пирата — Любви.

СКАЗКА О ЦЫГАНЕ

Посвящается Орелю

Приближался апрель, и по всей стране распространился слух, что невидимый и таинственный музыкант поселился в Арденнском лесу. Он жил там в самых густых зарослях, вместе с птицами и лесными зверями, и со времени его появления в оврагах, на лужайках и прогалинах и в зеленой тени деревьев пышно зацвели ландыши и барвинки, а лес дышал такой страстной радостью, что с зари до заката птицы безумствовали на ветках и олени по целым ночам мычали на луну.

Словно бурное море соков и желания волновалось в густом лесу, и в воздухе замирали страстные стоны, смущавшие всю страну.

В тяжелом и насыщенном грозой воздухе звенела гитара, и раздавался голос необыкновенного музыканта. Песнь его лилась и в прохладные фиолетовые и розовые зори и в пылающие печалью вечера, бесконечно нежная и чистая и бесконечно грустная, а трели и пиччикато звенели, искрились и рассыпались звездами и жемчугом под пальцами гитариста. Веселый насмешливый аккомпанемент презирал и издевался, а пламенный нежный голос молил и плакал, и в насмешке болтливой гитары над этим страстным и тоскующим призывом таилась еще большая печаль. В лесу, внезапно наполнившемся расцветшими стеблями асфodelей и наперстянки, по дорогам, в несколько недель сделавшимся непроходимыми от неожиданно разросшегося моря калины и лиан, ключом била жизнь; буйные травы и цветы распускались под любовные песни обезумевших соловьев: тридцать миль леса пели, смеялись и любили, поддавись внезапным чарам, а голос музыканта все плакал.

И лихорадка охватила всю страну. Особенно по ночам голос невидимого певца приобретал необычайную, чарующую и упоительную звучность. В полях нельзя было сде-

лать шага, чтобы не наткнуться на попрошайек и бродяг, лежавших в бороздах или придорожных канавах; они толпами сходились к лесу и внимательно и жадно слушали до зари. Девушки убегали из деревень, а пастухи — с ферм, чтобы послушать дивную музыку; молодые солдаты уходили из полков; колокола звонили до зари по монастырям, чтобы обратиться к Богу погибающие души, а старые, посевшие от постов и молитв монахи останавливались вдруг во время ночного обхода монастырей и заливались слезами, вспоминая прошлое.

Страшное волнение охватило все сердца. По всем селениям носилось дыхание страсти и разнузданного желания. Женщины покидали семьи и уходили за проезжими; вдоль изгородей только и видны были страстно обнимающиеся пары; земледельцы, охваченные смутной печалью, запускали поля под пар, городские ремесленники целыми днями бродили по полям, и дороги стали небезопасны от множества бродяг, рассеянных по стране. Проклятый музыкант околдовал всю страну, напустив лень и веселье на чернь и поразив горем и отчаянием дворянство и горожан.

И наконец, герцог лотарингский, живший в славном городе Меце, встревожился и решил освободить народ от проклятого певца-колдуна. Рассказывали, что это совсем молодой цыган, отставший от своего табора во время последнего перехода этих выходцев из Египта по лотарингским окраинам и поселившийся в Арденнах, где он пел с отчаяния и днем и ночью.... Может быть, он надеялся, что кто-нибудь из родичей услышит случайно его тоскующий призыв. Но, пугливый, как хищный зверь, и, несомненно, мастер на всякое колдовство, он до сих пор скрывался от всех взглядов. К тому же, суеверный страх охранял его пристанище, и с тех пор, как он пел в цветущем лесу, никто не решался проникать в его чашу. Так продолжалось уже несколько месяцев.

В прекрасную майскую ночь герцог лотарингский отправился в поход с отрядом всадников. Он взял с собой епископа из города Нанси и двенадцать монахов на случай отращения чар и заклинаний. Они ехали два дня, и на вто-

рой вечер прибыли к опушке леса. С рассвета они беспрестанно встречали паломников, шедших по дорогам, и девушек, бродящих вдоль изгородей с обезумевшими от любви глазами. И вдруг в сумерках запел нежный и чистый голос; герцог и его спутники невольно склонили головы и копыта на шею внезапно остановившихся коней. Словно мозг таял в их костях, и чудесный холод сжимал их сердца.

Но епископ города Нанси прочитал молитву святому Бонавентуре и, сотворив крестное знамение, герцог и его воины вступили в лес. Они блуждали в нем всю ночь при свете восходившей луны, плененные и очарованные голосом, который пел то слева, то справа и как будто блуждал наугад. Цветущий иней диких яблонь наполнял воздух благоуханием, ночной туман носился перед их глазами, как развевающиеся одежды, иногда на мху появлялись босые ноги, и они ощущали шелковистое прикосновение. Но то был обман чувств, и епископ города Нанси быстро рассеивал чары. Грустный и чистый голос неведомого певца по-прежнему рыдал и умолял, но теперь уже яснее и ближе, и сквозь залитые луною заросли внезапно увеличившегося леса они ехали, странно взволнованные, осторожно подвигаясь под душистым саваном лепестков, словно отряд птицеловов.

Вдруг голос рассыпался, как смех прозрачной струи, и пораженные всадники остановились.

Цыган был перед ними. Стоя на берегу ручья, он беспечно склонялся под холодным лунным лучом, держа в руке гитару, и смотрелся в воду, восхищенный своим собственным отражением и словно увлекаемый к воде тяжелой и призрачно длинной волной золотого шелка; задорные трели, как искры, рассыпались из-под его пальцев.

Герцогские всадники ринулись на него, как на добычу, повалили прежде, чем он успел вскрикнуть, и бросили его со связанными руками и ногами на круп лошади. Епископ города Нанси поднял гитару. На рассвете герцог и его свита выехали из леса и направились в Мец обходными путями. В течение трех дней пути пленный цыган не произнес ни слова; изредка к губам его подносили фляжку и да-

вали пить, а чтобы чудесная красота его не привлекала внимания прохожих, его накрыли плащом. На третий день, на заре, маленький отряд прибыл в Мец, к герцогскому замку.

Странный певец прожил здесь два месяца, замкнувшись в угрюмое молчание. Почти свободный под надзором троих сторожей, он сидел, устремив в пространство мрачный, невидящий взгляд, опровергая все догадки и смущая мужчин и женщин своей почти божественной красотой.

Это был стройный юноша лет семнадцати, с тонкими руками и сильными ногами, упругой походкой и быстрыми движениями напоминавший гордое и опасное животное. Его длинные белокурые волосы спускались ниже пояса, и презрительная гримаса по временам кривила его несколько животный рот. Но бездна его глаз изумляла своей глубиной.

Испуганный и вместе очарованный герцог полюбил его. Он являлся новой редкостью в герцогском дворце. Цыган бродил целыми днями из зала в залу, скрестив руки и не разжимая губ; порой он останавливался у раскрытого окна и подолгу смотрел на облака, потом продолжал свою беспокойную прогулку под взглядами царедворцев, следивших за ним издали.

Его одели в самые пышные одежды, отдали ему его гитару, но он как будто даже не узнал ее, и безмолвный инструмент переходил из комнаты в комнату, чтобы быть у него всегда под рукой, а он даже не удостоивал его взглядом. Труды герцога и царедворцев пропадали понапрасну. Проклятый цыган, не смолкая певший бродягам и нищим свою упоительную песнь, не хотел петь ее для своего властелина и придворных вельмож. Печальный чистый голос умолк навсегда, и дочь герцога, таявшая от желания услышать его, затосковала и побледнела.

Раздраженный герцог велел бросить в темницу проклятого музыканта вместе с его гитарой, а сам уехал из Меца в лесной замок, потому что стоял разгар лета и сильная жара.

И вот, через несколько времени, в бурную августовскую ночь, один из городских тюремщиков услышал бесконечно нежный и печальный голос, доносившийся из одной из башенных темниц. Бурная, пронзительная и веселая музыка сопровождала это пение; словно певучая вода журчала в башне, ударяясь о ее стены, музыка из слез и смеха надрывала душу, и тюремщик, никогда раньше не слышав его, узнал голос цыгана. Он бегом спустился с лестницы, расталкивая часовых, которые сбежались послушать дивный голос и рыдали от волнения, сидя на ступеньках и прильнув к зарешеченному окошку проклятого музыканта.

Узник, стоя посреди камеры, пел, судорожно перебирая струны гитары. Огромная, призрачная луна, желтая, как золото, смеялась в решетке окна, превращая в зеркало воду в большой чашке, стоявшей на полу. И, склонившись над отражением светила, цыган смотрелся в него и пел громким голосом, окутанный с головы до ног золотистой волной своих волос.

Он пел всю ночь. Сторожа, дрожа, толпились у глазка в его двери, а на площади, у подножия стен тюрьмы, толпа черни грозила кулаками часовым, рвала на себе волосы и сходила с ума от любви.

Цыган пел весь день, и к вечеру волнение поднялось в окрестных селениях. Начальник цитадели, поднявшись на сторожевую башню, увидел, что поля почернели от народа, медленно двигавшегося к городу, как идущая походом армия. Люди шли со всех четырех сторон горизонта. То были бродяги, босяки и крестьяне, вся армия несчастных, откликнувшаяся на призыв своего певца. Они нашли его наконец, и шли с рассвета, пьяные от радости и злобы, и сумерки наполнились страшными угрозами, пики и косы блестели под розовым небом. Паника опустошила деревни, и горожане, столпившись на стенах, с ужасом слушали приближавшиеся и разраставшиеся грозные крики.

А цыган все пел.

Герцог, к которому был отправлен поспешно гонец, в два дня прибыл к лагерю мятежников, расположившихся у городских ворот; гарнизон сделал вылазку, и плохо оде-

тая и вооруженная чернь была легко рассеяна. Произошла безжалостная резня: больше тридцати тысяч трупов остались на поле битвы, среди них много женщин и детей, потому что несчастные пришли с семьями, как на паломничество, и поля вокруг Меца покраснели от крови. Герцог в ту же ночь вступил в город, где еще глухо гудел мятеж, но, когда отправились за цыганом, чтобы повести его на пытку и повесить, темница оказалась пустой, — он исчез.

Но через несколько дней, когда настоятель братьев милосердия с несколькими братьями ходил по полю битвы, подбирая и погребая мертвых, чудесная музыка зазвучала вдруг над усеянным трупами полем и, подняв голову, монах увидел стройного юношу, который стоял на холме, заваленном трупами, и смеялся, и пел, держа в руке гитару.

Пламенное и золотое небо на горизонте казалось кровавым; окутанный до пояса волной огненных волос, певец пел и смеялся звенящим смехом и, склонившись, смотрелся в лужу крови.

И монах узнал цыгана, цыгана-Любовь, что поет в лесах для обездоленных и бродяг и молчит во дворцах, смотрится в Смерть и любит только себя, — Любовь, вольную и пугливую, как одиночество.

ПРИНЦЕССЫ ЗНОЯ И СОЛНЦА

Моему другу Октаву Юзанну

ПРИНЦЕССА ОТТИЛИЯ
ЗЛАТОКУДРАЯ ГРИМАЛЬДИНА
МАРКИЗА СПОЛЕТЫ

ПРИНЦЕССА ОТТИЛИЯ



Молодая девушка рассеянно поднялась со светлых шелковых подушек, на которых полулежала в задумчивости, подошла к высокому раскрытому окну и стала смотреть на город, видневшийся из-за тенистых деревьев царского парка.

В огромной комнате, затянутой шелковыми тканями, группа прислужниц тихо перебирала струны лютней и арф, наполняя весь восьмиугольный двор смутным и нежным рокотом звуков. Но принцесса Оттилия не слышала их, потому что была глуха от рождения, глуха и нема, как всегда бывает в таких печальных случаях. Отрезанная от мира жестокой судьбой, обреченная на вечную тишину и молчание, она жила уже более двадцати пяти лет, общаясь с людьми лишь несколькими определенными жестами, к которым привыкли ее прислужницы, и так была печальна в длинных своих одеждах из голубой парчи, расшитой золотыми цветами, или из лилового шелка, затканного зелеными драконами, — она любила только эти два цвета — так была печальна, что никто никогда не видел ее улыбки. И большие глаза ее цвета мертвой воды, бездумные и безрадостные, блестели под нежными веками тусклым блеском поддельных камней.

Она была старшей дочерью короля Сицилии, жалким убогим существом, рожденным от вынужденного полити-



ческого брака, и рождение ее повергло ее мать в немилость супруга-короля.

Король не любил эту принцессу с рассеянным взглядом, немymi устами и никогда не оживлявшейся, неподвижной и застывшей красотой. Она росла в отдаленной части дворца, доступ куда был запрещен дворцовой челяди и придворным. Густая тень королевского парка скрывала от всех взоров розовую мраморную башню, в которой кроткая Оттилия выросла и уже начинала медленно увядать среди толпы праздных прислужниц.



Турниры и веселые праздники, вечно новые картины моря и его горизонтов, оживленная гавань со скользящими галерами и шумной суетой народа на молах и набережных, может быть, развлекли бы унылую принцессу. Но король стыдился своей убогой дочери, она позорила его род, и, заключенная в своей мраморной башне и в мрачном саду, бледная Оттилия лишь очень редко покидала свою роскошную темницу, чтобы присутствовать на какой-нибудь торжественной придворной церемонии, и тогда народ проникался благоговением перед ее дивной красотой.

В такие дни король снисходил до того, что соглашался взглянуть на свою дочь. Сидя в торжественной позе, в зале, наполненной звуками священной музыки, шуршанием знамен и блеском металла и шелков военной свиты, она

казалась настоящей королевой, и застывшее в неподвижности лицо ее еще усиливало это величие. Она казалась тогда рожденной для того, чтобы царить под балдахином, среди клубов фимиама и цветочных гирлянд, под высокими сводами соборов, и, когда она появлялась в пышной мантии из тяжелого горностая, залитая золотом и самоцветными камнями, гордый монарх удаивался признать в ней свою дочь.



Но редки и быстролетны были эти часы. Сердце короля

всецело принадлежало сыну, рожденному от второго брака, после изгнания матери Оттилии. Надменному красавцу-дофину было уже двадцать лет и, буйный и непокорный, он смущал весь город и все королевство своими причудами, забавляя народ и приводя в трепет скромных буржуа безумной роскошью своих любовниц и фаворитов.

Принцесса Оттилия видела брата еще реже, чем отца. Дофин не желал запира́ться на целые часы с этой немой, смотревшей мертвым взглядом и двигавшейся, как привидение, и откровенно заявлял, что предпочитает живые лица намалеванным фрескам.

Неизменно серьезная сестра пугала его, и единственным развлечением бедной покинутой принцессы было перелистывать тяжелые страницы старых раскрашенных молитвенников, вышивать цветными шелками фигуры рыцарей и пастушек, да изредка к ней приходили ткачи и ювелиры, приносявшие ей для выбора, одни — образчики рисунков и цветов новых тканей, другие — застёжки, браслеты и ожерелья, и посещения этих людей вносили редкую отраду в ее одиночество.



В полутемном от цветных стекол гинеее умиравшие от скуки служанки играли под сурдинку на лютнях и арфах или щипались по углам, как влюбленные девочки, но царственная глухонемая не слышала ни их музыки, ни подавленных смешков.

Она все стояла у окна, опершись обеими руками на мраморный выступ, но мечтательный взгляд ее уже не старался различить вдали купола и колокольни за высокими верхушками пальм и кипарисов. Принцесса Оттилия смотрела с странным вниманием вниз, на подножие башни, возвышавшейся среди массивов зелени, усеянных звездочками лютиков и жасмина.



В сад вошли трое незнакомых молодых людей: один — знатный вельможа, двое — музыкантов. Один был флейтист, другой скрипач, с особенной скрипкой, издающей под смычком необычайно нежные и сладостные звуки и называемой *viole d'amour*. Молодой вельможа сел на круглую скамью и, развернув рукопись, которую держал в руке, сделал знак музыкантам. Принцесса, которая сверху видела их, как на дне колодца, и которой они казались странно бледными в голубой тени кипарисов, увидела, как флейтист поднес к губам свою флейту, а другой музыкант приложил к плечу скрипку.

Молодой вельможа отбивал такт, раскачиваясь корпусом и наклоняясь вперед, указывал повторения, следил за ритмом и, раскрыв рот, видимо пел, покачивая головой, песнь, которую она не слышала.

Они разучивали какую-нибудь серенаду, любовную песнь, посвященную красавице, возлюбленной молодого вельможи, державшего в руке рукопись. Они избрали это уединенное место, чтобы разучить ее без помехи, и, судя по восторженному лицу вельможи, по его влажным глазам и вдохновенному виду, слова и музыка, должно быть, были сочинены им самим.

И горестнее, чем когда-либо, принцесса сожалела, что не слышит звуков, не понимает нежного значения слов. Все в этом юном незнакомце, — страстная поза, жгучая бледность, гибкий, стройный стан и опьяненный любовью взор, — все привлекало ее; ей хотелось узнать придворную даму, к которой обращалась нежная песнь, потому что, конечно, она предназначалась не для нее; и влюбленный умышленно избрал для разучивания своего произведения уединенный сад глухонемой принцессы... Глухонемая! сердце ее сжалось от боли.

Одна из служанок приблизилась к окну и увидела, как трое мужчин вышли из сада, но успела узнать молодого вельможу.

Это был Беппино Фьезоли, любимец принца, который занимал все должности при дворе и даже пост возлюбленного красавицы-герцогини Катарины Эйдагской, тогдашней возлюбленной дофина.

В эту ночь принцесса Оттилия увидела во сне прекрасного незнакомца и обоих музыкантов, приходивших в сад. Но, о чудо! нежные звуки ласкали ее слух, чудесная музыка проникала все ее существо, повергая ее в радостное оцепенение и преисполняя восторгом; внезапно расцветшее тело ее то замирало, то снова оживало от жаркого трепета.

На следующий день, около четырех часов, неизведанное дотоле ощущение неги и ласки заставило ее вдруг подняться с кресла и почти бессознательно подойти к окну, выходявшему в парк.

Трое вчерашних незнакомцев уже находились на прежнем месте, красавец Беппино Фьезоли сидел на скамье, а



двое музыкантов стояли перед ним. Флейта и скрипка наигрывали меланхолическую шаконну, и под звуки страстной и вместе жеманной мелодии юный Беппо изливался в молящих призывах, упреках и хвалах, обращенных к даме его сердца. И царственная глухая понимала смысл его слов, и грусть охватывала ее душу, потому что стихи и музыка обращались не к ней, а к другой. Сердце ее, внезапно познавшее жизнь, угадывало, что то была мольба любви.

Стихи флорентинского вельможи воспевали шелковистые золотые кудри холодной красавицы с прозрачным, янтарным, как виноград, телом; они воспевали свежие и влажные розы уст дамы со стальными глазами, жестокими, как кинжал; и, не зная смысла слов, принцесса Оттилия знала, что ее волосы черны и блестящи, цвет лица бледен, а в зеркале ей улыбаются глаза цвета больной бирюзы.

Она машинально взяла со стола зеркало и посмотрелась в него. Опустив взор снова в сад, она увидела, что молодой человек поднял голову и смотрит на нее. Принцесса Оттилия почувствовала, что краска заливает ее лицо, и отступила от окна.

Но на следующий день она опять стояла, прислонившись у того же окна. Беппо и два музыканта уже расположились в тени кипарисов, и флейта и скрипка по-прежнему томно рыдали.

Но музыка была уже не та. Она молила еще настойчивее и страстнее, и глухая принцесса слышала ее. Стихи тоже изменились. Они воспевали уже не серые глаза золотоволосой красавицы с янтарным телом, но аквамаариновые очи призрачной девы с черными, как ночной мрак, волосами.

Певец пел, устремив на нее взор, и опьяненная принцесса уже не смотрелась в зеркало.

Ночью сны ее были полны жгучих видений.

Через несколько времени после этого, однажды вечером, когда принц Александр, полулежа на бархатных генуэзских подушках и скутарийских коврах, лениво перебирал длинными пальцами шелковистые косы красавицы Катарины, она равнодушно спросила:

— А где же наш милый Беппо?

Наследник трона Сицилии ответил нехотя, опьяненный страстью:

— У нашего Беппо опять какая-нибудь безумная затея. Он совсем пренебрегает нами последнее время, — вы не приходите?

— А зачем ему утруждать себя, оказывая нам внимание? Разве он и без того не пользуется любовью и милостями вашего высочества? Вы сделали его графом, губернатором Сардинии. Он полными горстями черпает золото из ваших сундуков и может простираť свои желания на все. Ведь мечтал же он сделать меня своей возлюбленной.

— Как! Он посмел?

— И целую неделю это зависело только от него. Ведь после вас, ваше высочество, он — самый обольстительный мужчина в королевстве. Но наш флорентинец метит выше: он заставляет глухих слышать и немых говорить.

— Что вы хотите сказать?

— Ничего, ваше высочество, кроме того, что известно всему двору, за исключением его величества и вас. Пойди-

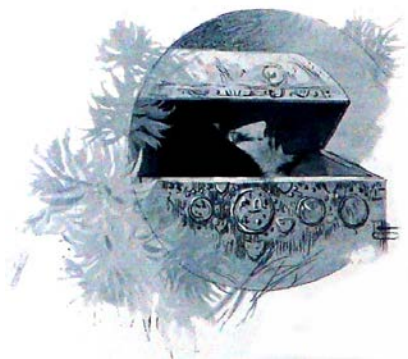
те завтра со своими людьми погулять в час сиесты в сад принцессы.

— В сад Оттилии, моей сестры? Прекрасная герцогиня Эйдагская, Катарина, душа моя, вы рискуете головой, если солгали.

На третью ночь после этого у принцессы Оттилии был отвратительный кошмар. Прекрасный граф Фьезоли с музыкантами пел свою обычную серенаду. Песнь неслась, страстная и пламенная, а она, склонившись у окна, впивалась в него взглядом и замирала от блаженства, слыша его мольбы и любовные призывы... Как вдруг прекрасный певец побледнел во внезапно сгустившейся тени кипарисов. Он шатался и бледнел все сильнее, и голос его замолк; замолкла и скрипка; а может быть, глухота снова вернулась к принцессе. Она проснулась, холодея от ужаса, и сердце ее больно сжалось от тревоги.

Утром паж в королевской ливрее передал ее служанкам венецианский ларец, украшенный эмалью и драгоценными камнями. Принцесса поспешно открыла его. На дне, на шелковой подушке, лежала еще не остывшая голова с закатившимися большими глазами, — голова флорентинца Беппо. Принцесса упала без чувств и к вечеру скончалась от жестокой горячки.

Так погибла принцесса Оттилия, за то что слушала любовное пение скрипки.



ЗЛАТОКУДРАЯ ГРИМАЛЬДИНА

Реньеро Гримальди, князь монакский, завоевав королю Франции Лондон, возвращался в свои владения через герцогство Бургундское и королевство Прованса и остановился в Авиньоне. Там находился в это время веселый двор его святейшества папы, оживляемый сочинителями сонетов, певцами баллад, мимами, скоморохами и трубадурами, и в числе этих людей, общество которых считается грехом для служителей церкви, находился некий Галеас-Алести, родом флорентинец и, между прочим, поэт. Однажды вечером, за столом его святейшества, аккомпанируя себе на мандолине, он стал воспевать красоту одной несравненной красавицы-генуэзки, знаменитой во всем Провансе и на границах Италии чудеснейшими длинными, мягкими и белокурыми волосами, подобных которым не видали на берегах Средиземного моря со времени святой Марии Магдалины, покровительницы Прованса, почивающей в Сент-Бальмском гроте, в благовонной пустыне Опса, на склони Пилона.

Красавицу эту, увенчанную, как Ахиллес, шлемом золотых волос, звали Изабеллой Азинари, и флорентинец воспевал ее в своих стихах, а юный менестрель из Турена, неизвестно как попавший ко двору папы, прибавлял, что молочно-белые плечи ее окутаны мантией из августовского солнца. Словом, эта Изабелла Азинари сводила с ума всех музыкантов и поэтов авиньонского дворца. Ее имя было на устах у всех, и князь Монакский, бывший, как всякий добрый провансалец, ревностным поклонником святой Магдалины, услышав об Азинари, соперничающей в красоте волос с грешницей, возлюбленной самим Господом, проникся странным любопытством, а может быть, и зарождающейся любовью, когда узнал, что эта Изабелла Азинари — набожная и скромная девушка, честно живущая в Генуе, в доме своего отца, торговавшего железом в прибрежном квартале.

Он захотел познакомиться с этой золотоволосой девушкой и, как герой Гомера, простившись с его святейшеством, ночью покинул Авиньон, поспешно прибыл в марсельский порт, нанял галеру, и, не заходя даже в свое княжество, направился к Генуе, уже терзаемый, бедняга, любовной лихорадкой.

Гримальди нашел красавицу в доме ее отца, за прялкой. Дом генуэзца находился в гавани, и маленькая зала, в которой сидела девушка, освещалась окном, из которого виднелось море. Когда монахский князь вошел в эту залу, вся лазурь небес и моря вливалась в раскрытое по случаю жары окно. Большая красная лилия, стоявшая в вазе на краю окна, дрожала и трепетала, как огонь, от легкого ветерка, а дочь генуэзца, с ясным челом и узким лицом с опущенными нежными веками, неподвижно сидела, окутанная мантией золотых волос, похожая на фигурку из слоновой кости, и белизна ее лица казалась еще бледнее на фоне этой яркой лазури с пылавшим алым цветком. Гримальди убедился, что поэты не солгали.

Нет, и флорентинец, и поэт из Турена, и все другие говорили правду. Тонкая и бледная, с длинными опущенными ресницами и дивными золотыми волосами, Изабелла Азинари была прекрасна, как статуя святой на лазури оконного стекла, но ее рамкой была вся лазурь Средиземного моря. И в этом ореоле, улыбаясь, с закрытыми глазами, Изабелла казалась спящей, а Гримальди, с тревогой в сердце, смотрел на нее молча. Когда же красавица медленно, очень медленно подняла ресницы, Гримальди упал на колени и поклонился ей, как араб пробуждающейся заре, коснувшись лбом каменных плит пола и распростерши руки.

Для Гримальди занялась заря: заря любви. То была минута блаженства. Но Гримальди был не менее ревностным поклонником святых, чем пылким поклонником красавиц. Он попросил руки Изабеллы у ее отца, а так как он был могущественным вельможей знатного рода и чудовищно богат, то добился того, чтобы свадьба состоялась на следующий же день, и золотокудрая пряха, розовая от корней волос до шеи (но, вероятно, и дальше), позволила не-

терпеливому Реньеро коснуться своих розовых пальчиков, которые он осыпал пламенными поцелуями.

То была роскошная свадьба, великолепие которой удивило всю Геную. Потом Гримальди увез молодую жену на свою монашескую скалу. Слепленные, хотя и привыкшие к яркому солнцу жители Монако приветствовали вступление в свою страну самой белокурой в мире принцессы, и в честь юной новобрачной сейчас же состоялось изречение: «Теперь генуэзская заря встает в Монако». Потом Гримальди вернулся к своей прежней жизни корсара и к служению французским лилиям, а белокурая Азинари с легкой грустью осталась у синего моря, в благоуханном уединении, среди цветущих кактусов на скале, увенчанной башнями ее замка.

В те времена влюбленные не забывали, что состоят на королевской службе, и лилии королевского герба имели преимущество перед любовью.

В одно из коротких перемирий, когда французы и англичане отдыхали от постоянных войн, князь монашеский находился однажды вечером в Париже у ее величества королевы. Изнеженные и раздушенные придворные, молодые красавцы в камзолах из переливчатого шелка, хвастливо рассказывали о своих любовных похождениях и, болтливые и тщеславные, как дрозды, снисходительно описывали чудесные и скрытые прелести своих возлюбленных. Гримальди угрюмо слушал эти похвалы, не разжимая губ. «А ты, Монако! — воскликнула королева, обращаясь к мрачному рыцарю, — разве у тебя нет красавицы, которой ты бы мог похвалиться? Ты — такой доблестный рыцарь, неужели же ты живешь без любви? И не потому ли у тебя такой рассеянный вид и замкнутые уста? Неужели ты не любишь красавиц, Монако? Это было бы непростительно для такого храбреца, как ты». Гримальди презрительно тряхнул головой и ответил: «Что же мне сказать вашему величеству? У женщин моей страны стан волнуется, как море, в улыбке их сияет все солнце, а в глазах вся изменчивая лазурь моря. Я родом из Прованса, ваше величество!» Дрозды и попугаи-придворные стали хихикать над монашеским

князем, влюбленным во всех женщин своего Прованса, и над тем, что ни одна не принадлежит ему. Тогда Гримальди сказал: «Господа, княгиня монакская так хороша, что, никогда не видав ее раньше, я нанял в марсельской гавани галеру и поехал в Геную просить ее руки у ее отца, торговавшего железом. Слава о ее красоте гремела за морями. Жена моя известна своей красотой на берегах Прованса и Италии и, помимо прочих редких прелестей, обладает такими длинными и шелковистыми белокурыми волосами, каких не было ни у одной женщины со времен святой Марии Магдалины. Они даже вошли в поговорку на моей лазурной родине. Я ответил вам, господа!» Тогда королева, несколько задетая за живое, потому что тоже немало гордилась своими довольно длинными и шелковистыми золотыми волосами, сказала: «В самом деле, Монако? Мне хочется взглянуть на эти чудесные, знаменитые волосы. Не можешь ли ты доставить их нам ко двору?» Гримальди подошел к трону прекрасной королевы: «Желания вашего величества равно сильны приказаниям. Я еду за волосами, которые вы желаете видеть». И с низким поклоном покинул дворец, до самых дверей провожаемый внезапно наступившим безмолвием.

Он не возвращался целых два месяца, и оскорбленные им придворные снова стали хвастаться и злословить. «Монако, наверное, заказал свою княгиню какой-нибудь провансальской колдунье и ждет, пока ее приготовят. Посмотрим, кого-то он привезет, какую-нибудь черномазую провансальскую замарашку или мавританку, купленную у пиратов!» Ядовитые речи продолжались, и королева начала прислушиваться к ним, потому что она была женщина, хотя и королева, и отличалась веселым и насмешливым нравом! Как вдруг в прекрасный августовский вечер герольды возвестили о возвращении Реньеро Гримальди.

Белокурая королева привстала с трона. Монако был один: «Один! Монако, ты насмеялся над нами?» Нет, он был не один, потому что двое слуг, одетых в камзолы его цветов, следовали за Гримальди, неся за ручки тяжелый же-

лезный сундук, покрытый лиловым венецианским бархатом.

Они поставили сундук пред троном, и Гримальди, открыв его, вынул длинную и тяжелую волну золотистого шелка, блестящего, гладкого и струистого, как живое золото, целую пелену из благоуханного света и янтаря, точно сотканную из золотых лучей зари, и весь темный дворец озарился ее блеском.

Монако, стоя перед троном, концами смуглых пальцев приглаживал лучезарное сокровище.

Королева поняла: «Я просила тебя привезти княгиню, а не волосы, Монако. Как мог ты совершить такое святотатство! Это убийство, преступление против красоты. Как! Ты решился обрезать волосы своей жены!»

— Ваше величество приказали мне доставить вам волосы, а не княгиню, — ответил Гримальди. — Жена принадлежит мне одному, и я сохраняю ее для себя. Вы желали видеть ее волосы, разве я не исполнил желания моей милостивой королевы?

Но королева, сложив в восторге руки и широко раскрыв глаза, как ослепленная, не переставая, повторяла: «Обрезать такие волосы! Да ведь это святотатство, это убийство, преступление против красоты!

— Успокойтесь, ваше величество! — прервал ее ужасный человек. — Я обрезал только одну прядку!

МАРКИЗА СПОЛЕТЫ

Бартоломео Джiovанни Сальвиати, маркизу Сполеты и герцогу Вентимилии, из древнего рода Сальвиати, давшего многих дождей Венеции и губернаторов Флоренции, было уже пятьдесят лет, и уже пятнадцать лет, как он вдовел после смерти своей жены Марии-Лукреции Беллеверани, из неаполитанских Беллеверани, находящихся в родстве с герцогскими фамилиями Модены и Пармы и даже с домом Медичи. И вот, уже убеленный сединой и изборожденный морщинами, он женился вторым браком на Симонетте Фоскари, красивой двадцатилетней девушке, в расцвете сверкающей юности. Эта Симонетта Фоскари, флорентинка по рождению и природным склонностям, происходила из древнего рода Фоскари, бывших грозой своего родного города. Фоскари постоянно участвовали в заговорах и восстаниях, являлись героями трагических любовных историй и измен и дали длинный ряд преступников и сладострастников. Мужчины из этого рода, красивые, как куртизанки, были фаворитами в замке Святого Ангела, а женщины, прелестные, как херувимы, — папессами в Ватикане. Симонетта Фоскари подтверждала народную поговорку, сложившуюся в Италии о красоте членов ее знаменитого рода. «Фоскари так красивы, что соблазнили бы самого Бога», — гласит эта кощунственная поговорка, до сих пор повторяемая во всей Тоскании.

Портрет неизвестной женщины, написанный учеником Леонардо да Винчи и могущий быть портретом Симонетты Фоскари, о которой рассказывает наша история (потому что в каталоге галереи Уффици картина эта значится под названием «Портрет маркизы Сполеты»), сохранил для последующих поколений ее губительную красоту. Драгоценный портрет этот хранится в маленькой полутемной зале музея, и на него можно натолкнуться только случайно или после усердных поисков, но я сомневаюсь, чтобы человек, хоть раз видевший эту маленькую надменную головку, мог

когда-либо забыть ее.

Властная упрямая головка с выпуклым лбом и крутым затылком выражает сильную волю и производила бы впечатление злой, если бы не томные глаза с чересчур тяжелыми веками — темные, миндалевидные глаза со странно углубленными под надбровной дугой зрачками, поблескивающими желтыми огоньками дымчатого топаза. Тонкий рот со смело изогнутыми губами, прямой короткий нос с раздувающимися ноздрями и четкий, определенный овал лица, точно высеченный из твердого камня, придают выражение властности и настойчивости этому лицу молодого искателя приключений и чувственной принцессы, страшному по силе сосредоточенной в нем страсти и юной пылкости. Прическа состоит из тяжелых торсад, перевитых жемчугом и зеленоватыми камнями и обычно увенчивающих все женские портреты тосканской школы, шея, очень женственная, почти змеиная по длине и гибкости, в которых чувствуется преднамеренность художника, точно стебель поднимается из низко вырезанного, плотно прилегающего к плечам корсажа из шафранного атласа, представляющего очень удачное сочетание с блеклым тоном глаз и волос. Матовый цвет тела, в освещенных местах впадающий в зеленоватый прозрачный колорит, вызывает представление о мягком воске и твердом металле, а между тем, картина по живописи почти плоха. Сходство чувствуется в одном только лице, но и оно испорчено условными деталями, рутинными приемами школы, как, например, слишком длинной шеей и рыжеватыми волосами, потому что эта женщина, при такой бледности, должна была быть брюнеткой, а эта маленькая головка с влажными глазами, несомненно, покоилась на полной и округлой шее... Но и в том виде, в каком оно завещано нам веками, лицо это тревожит, мучит, преследует вас больше всех других картин галереи анонимностью художника и модели. Ученик да Винчи? Кто этот ученик?.. Маркиза Сполеты? Кто была эта маркиза и какова ее судьба?.. Образ ее преследует вас с особенной настойчивостью, потому что вы чувствуете, что перед вами умышленно искаженная кра-

сота... Маркиза Сполеты... мне захотелось сделать ее героиней трагической истории, которую я расскажу сейчас.

Симонетта Фоскари, на которой маркиз Сполеты женился из-за ее царственной красоты и сверкающей юности, внесла в маленький суровый двор Вентимилии изысканные вкусы, вольные нравы и расточительность флорентинской принцессы.

В маленьком пограничном городке, дотоле привыкшем более к военному построю, появились вереницы жонглеров и музыкантов, художники, расписывавшие картинками молитвенники, лепщики из воска и даже сочинители сонетов и баллад, которых много было в те времена в Ломбардии и Тоскании, где они состояли на жалованьи у сильных и богатых сего мира. Все они прибыли следом за новой герцогиней, одни, привлекаемые ее красотой, большинство же ее щедростью. Старая крепость наполнилась шумом веселых голосов, шелестом шелка и звоном говорливых инструментов; а раньше в ней слышался лишь звон стаканов да звяканье сталкивающихся алебард, а в мирное время стук игральных костей.

Теперь, с зари до заката и особенно с заката до зари, раздавались звуки мандолин, рыдания гитар и стихи поэтов, то произносимые под музыку, то нашептываемые нужными голосами, замиравшими от любви. В старых низких залах, дотоле занятых ландскнехтами, рассказывались веселые истории; голые стены украсились фресками. Молодая герцогиня выписала художников из Фьезоли, скульпторов из Романьи, и изображение ее то в виде нимфы, то в виде канонической святой, украсило галереи и залы дворца.

Андреа Сальвиати, сын от первого брака герцога с Марией-Лукрецией Беллеверани, с досады покинул отцовский дом. Это был болезненный и хрупкий юноша, довольно некрасивый и молчаливого нрава; он унаследовал от матери горделивый и упрямый характер. От нее же он унаследовал красивые темно-зеленые глаза, бывшие единственной прелестью его болезненного лица. Эти-то глаза встретили надменную и равнодушную Симонетту в самый день ее прибытия в Вентимилью. Взгляды флорентинки и сына неа-

политанки скрестились, как две шпаги, но от удара не родилось искры. Политичная, как все женщины ее рода, молодая герцогиня старалась привлечь на свою сторону сына своего супруга; она была по-матерински нежна, шаловлива, не скупилась даже на ласки, но не могла сломить возрастающей враждебности Андреа. Тогда, утомленная бесполезной борьбой, она пренебрегла этой недающейся победой и вернулась к своим увеселениям. И, среди двора, наполненного музыкантами, художниками и поэтами, установилась самодержавная власть сладострастно-деспотичной и своенравной жрицы любви; влюбленный герцог потворствовал ее причудам. Не слушая никаких предостережений, ослепленный страстью, он отвечал на все язвительные замечания только одно: «Она из рода Фоскари», и действительно, все эти молодые красавцы, тоже флорентинцы, как и Симонетта, были для нее скорее ручными зверьками, игрушками и шутами, чем существами одной с нею расы; гордость предохраняла ее от вспышек жаркой крови, и увлечения ее сменялись беспрестанно: вчерашний фаворит на завтра впадал в немилость. Когда кто-нибудь из них переставал ей нравиться, она прогоняла его или женила на какой-нибудь из своих прислужниц. Вильгельм де Бор, провансальский трубадур, попавший случайно в Вентимилью и осыпаемый в течение двух месяцев милостями, должен был бежать ночью за пределы герцогства, спасаясь от брака со старой, служившей на кухне пьемонткой, которую герцогине вздумалось навязать ему: внезапность ее причуд опровергала все подозрения.

Рассерженный Андреа Сальвиати покинул Вентимилью и отправился в море, чтобы держать в страхе суда пиратов, опустошавших в те времена побережья Мессины; оскорбленный в сыновнем чувстве, он поступил с досады на службу к королю Сицилии, родственнику и врагу своего отца.

Старый герцог, все более подпадавший под власть своей молодой жены, жил в древней части замка, в обществе астрологов и алхимиков, душой и телом преданных герцогине, и среди народа распространился слух, что они совра-

щали разум старого властелина пагубными опытами и исследованиями волшебных наук... Надо было занять внимание Бартоломео, ослепить старого влюбленного орла, скрыть от него проделки «Левретки», как звали в Вентимилии гибкую и лукавую Фоскарину, не знавшую удержу среди своих генуэзцев и тосканцев, низкопоклонных и угодливых, как стая псов.

Скандал уже стал общеизвестным, хуже того, он уже был известен за пределами герцогства и радовал Прованс и Италию: герцогиня открыто предавалась разврату. При дворе Сальвиати царила теперь куртизанка, и среди множества фаворитов, мелкой сошки, которую каждую неделю отправляли на тот свет веревка палача или яд алхимиков, трое итальянцев, связанных общим интересом своего положения и безопасности, делили между собою милости герцогини: один — Беппо Нарди, поэт, выросший при авиньонском дворе, сочинитель сонетов школы Петрарки, стройный и ловкий юноша с профилем камеи. Его гордое, бледное лицо всегда было обрамлено пунцовым бархатом, а муза, столь же гибкая, как и его спина, каждое утро воспевала дивную красоту Симонетты. Другой — Анджелино Барда, мандолинист-неаполитанец, сочинявший томные канцонетты, которые он пел свежим и чистым голосом, смуглый, как оливка, с большими глазами и пламенными сухими губами, темно-фиолетовыми, как ягода тутового дерева. Говорили, что этот неаполитанец Анджелино необыкновенно изобретателен в любви. И, наконец, Петруччио Арлани, художник и скульптор в духе Микельанджело, великодушное животное, мускулистый, как атлет, с черными курчавыми и жесткими волосами и маленькой головкой Антиноя. Петруччио Арлани был пастухом и пришел в Рим с Аbruццских гор, где позировал в мастерских, и был кумиром знатных римских дам, пока наконец однажды, после веселого ужина в Ватикане, папе не вздумалось отправить его ко двору Вентимильи с двумя легатами и одним нунцием в качестве представителя римского искусства. Он был очень красив, и герцогиня оставила его при дворе.

Скульптурный талант его шел не дальше лепки восковых фигурок, Он уже слепил с Симонетты три бюста Афины-Победительницы, которые герцогиня каждый раз безжалостно уничтожала; но так как у красавца была могучая, как у быка, шея и широкие бедра, Симонетта держала его возле себя в надежде, что из-под его грубых пальцев выйдет в конце концов прекрасное художественное произведение.

И флорентинка продолжала приручать абруцского пастуха вместе с поэтом Нарди и неаполитанцем Барда... Звон гитары, сирвенты и сонеты, раскрашенные восковые бюсты — такова была атмосфера утонченного сладострастия и томного блаженства при дворе прекрасной герцогини на берегу лазурного моря, сверкающего и нежащегося среди прибрежных лавров и пальм перед величественной и туманной картиной Ройской долины.

А Бартоломео Сальвиати не вмешивался в жизнь своей жены. Кудесники и астрологи завладели герцогом, и от этого дивного ума, от быстрой и решительной воли, от твердого и смелого характера старого воина, некогда бывшего грозой родной Италии, остался лишь старец, подпавший под власть самой опасной среды и почти обратившийся в детство. Таково было желание молодой герцогини. В десять лет Симонетта поработила старого орла и превратила его в лабораторную сову. Он уже не покидал теперь горнов и реторт, среди которых его заперла красавица Фоскарина, и только изредка выходил из своих покоев, чтобы по просьбе жены присутствовать на каком-нибудь устроенном ею празднике, комедии или балете, оправдывая своим августейшим присутствием роскошь и вольность, установившиеся при его дворе.

И уверенные в своей безнаказанности фавориты осмелели, а смелость герцогини пошла еще дальше. Опыренная лестью и похвалами, «Левретка» уже сама стала жаждать скандала, стремясь подтвердить, бросить всем в лицо свою измену и своих любовников, как женщина, влюбленная в свое тело и почти лишившаяся разума. Утратив всякую осторожность, под внушением неведомого злого гения,

дерзкая Симонетта решила сама выступить на сцене перед всем двором, вместе со своими тремя фаворитами, в специально написанной комедии или балете, в которой каждый из них мог блеснуть своим талантом.

Это была бравада опьяненной властью женщины, вызов гордости и стон любви, но все же решение было принято, и проект разрабатывался долго. Герцогиня Вентимилии заказала пьесу Нарди, музыку должен был сочинить Барда, но сюжет придумала она сама. Петруччио Арлани, состоящий под ее началом художник и скульптор, взял на себя составление костюмов и декораций. Флорентинка не доверяла никому; она сама желала быть вдохновительницей, верная традициям монархинь своей страны, и самые гениальные артисты в ее руках превратились бы в простых сотрудников.

А Беппо Нарди был довольно слабым поэтом, Анджелино Наполитанский был прекрасным музыкантом, но весьма посредственным композитором, красавец же Петруччио не обладал ни вкусом, ни фантазией, так как слишком долго пас коз на склонах своих родных гор. Но у герцогини воображения и изобретательности хватало на всех троих. И когда Нарди и Барда принесли ей, наконец, заказанную пьесу «Смерть Иоанна Крестителя», Симонетта заявила, что это — дивное произведение, так как сквозь вычурные и рифмованные стихи она узнала свою первоначальную идею, а бледные мелодии неаполитанца не могли умалить ужаса драмы, задуманной этой трагической душой. Герцогиня надела на шею Анджелино золотую цепь, на палец Беппо Нарди — перстень с крупным рубином, и оба восторженно облобызали руку ее высочества. Поэт и музыкант выполнили ее план, фавориты повиновались ей.

Смерть святого Иоанна Крестителя, обезглавление Предтечи, сладострастная и кровавая легенда, как бы поработившая все итальянское Возрождение, Ирод и Саломея, грозные фигуры, соблазнявшие всех художников этой эпохи и населившие музеи призраком своих преступных деяний, — вот сюжет, избранный сладострастной и упрямой Фоскариной. Из всех библейских и легендарных фигур больше

всех ее пленяла Саломея, и, рожденная флорентинской принцессой, по мужу маркиза и герцогиня, она мечтала воплотить и вызвать в представлении своего народа бесстыдную иудейскую царевну.

Ей хотелось изобразить эту девушку, что плясала нагая перед старым развратным царем и получила в награду за таинственный дар своего пола голову врага. Развращенность ее тешилась мыслью об осуществлении в жизни этой легенды, а может быть, ее пылкое воображение соблазняло сопоставление между преклонным возрастом легендарного Ирода и преждевременной дряхлостью ее собственного мужа!

На сцене должна была быть изображена старческая слабость Ирода, но женский мозг свел это изображение до мести маленькой раздосадованной девочки. Герцогиня придумала две картины: в первой — Саломея и Иоанн Предтеча встречаются в одном из дворцовых переходов, святого узника ведут двое сторожей, царевна, скорее, быть может, из любопытства, чем из сострадания, предлагает ему сначала напиться, потом протягивает аскету цветок. Святой презрительно отказывается, Саломея настаивает, тогда Иоанн приходит в пророческую ярость и призывает небесный огонь на голову искусительницы. Вторая картина изображала Ирода на троне, среди царедворцев и сановников; по его приказанию призывают Саломею, и он просит ее танцевать; происходит кровавый торг между тираном и царевной, потом, после убийственно-страстного танца, Ирод исполняет свое обещание, и палач приносит на блюде голову святого.

Фоскарина распределила роли: поэт Беппо Нарди должен был изображать Ирода; неаполитанец Анджелино с пламенным узким лицом — Предтечу; его худоба и блестящие глаза, казалось, предопределяли его для роли сурового аскета, питавшегося акридами. Что же касается до Петруччио Арлани, то его высокий рост и сильная мускулатура как нельзя лучше подходили для роли палача. Он должен был во все время танца стоять неподвижно с мечом в руке, позади коленопреклоненного святого. Схватив свято-

го за плечи, он уводил его со сцены, и его сильная рука, высунувшись из-за колонны, должна была положить окровавленную голову Крестителя на блюдо... И с детской радостью, лихорадочным увлечением и вниманием к подробностям, которые женщины вносят в такие дела, герцогиня сейчас же занялась костюмами, постановкой и декорациями, поисками восточных тканей и драгоценного бархата... Писцы, по ее приказанию, посылали заказы в Венецию, из Генуи еврейские купцы привезли ей на выбор дамасские ковры и тирские шелка. За огромные деньги выписали бергамских танцовщиков, которые показали ей танец Саломеи, научили ее двигаться и колебаться на месте, вздрагивать с головы до ног, потом изгибать бедра и напрягать грудь, как египетские алмеи... Придворный оркестр увеличили на пятнадцать человек. Старинные вышивки фамилии Сальвиати, изображавшие жизнь Пресвятой Девы, были извлечены из сундуков камфарного дерева, в которых их сохраняли, так как они были чрезвычайно драгоценны, и их вынимали только в особо торжественных случаях, при бракосочетании герцогов и при крестинах младенцев мужского пола, да и то только первенцев. Герцогиня не остановилась и на этом: она пожелала превратить внутренний двор замка в зрительный зал, и приказала срыть часть вала цитадели и разрушить на двадцать метров стену, защищавшую ее со стороны моря. Кирки и ломы раздробили старые гранитные глыбы, положенные Гумбертом Сильным. В стене открылась громадная брешь высотой в двадцать метров, и яркая лазурь безбрежного залива озарила полутемный прежде двор. Здесь был устроен театр. Дивные gobelены рода Сальвиати задрапировали эстрады, поставленные во дворе у подножия башен и бойниц, и, наконец, наступил день спектакля.

Симонетта избрала для этого скандала годовщину своей свадьбы. Парчовый балдахин фамильных цветов герцога, предназначенный для старого Бартоломео и его ученой свиты, возвышался против сцены, посреди эстрад. Начало спектакля было назначено в три часа, и толпа, собравшаяся на ступенях, заливая их смуглыми головами и светлыми

одеждами, нетерпеливо волновалась, а места, отведенные для герцога, все еще оставались пустыми. После почти часового ожидания, когда толпа в раздражении начала шуметь и стучать ногами, заиграл оркестр, состоящий из флейт и скрипок, и занавес, закрывавший сцену, раздвинулся. Герцог Бартоломео прислал сказать герцогине, чтобы его не ждали и начинали без него. Он почувствовал себя дурно в ту минуту, как собирался выйти из своих покоев, и просил у нее десять минут времени на то, чтобы несколько оправиться, обещая самое большее через четверть часа явиться, чтобы присутствовать при танце Саломеи. Он очень желал полюбоваться герцогиней в этом танце и выразить ей свое восхищение. Спектакль начался среди общего тревожного настроения, потому что никогда еще дерзость прекрасной Симонетты не заходила так далеко.

На сцене, на фоне старинного зеленого фландрского ковра, изображавшего фрески галереи, вырисовывался задрапированный в складки тяжелых азиатских тканей и в турбане из длинных голубоватых покрывал гибкий и тонкий силуэт герцогини в роли иудейской царевны. Она протягивала святому Иоанну, Барде, розу, потом кубок и нежным, сладострастным движением обвивала его прекрасными обнаженными руками... Затем занавес упал, а в импровизированном зале герцог все еще не появлялся. Женщины общались друг другу на ухо содержание следующей картины: в конце спектакля герцогиня должна была торжественно показать всем на блюде ужасную раскрашенную восковую голову, слепленную Арлани с самого Барды.

Занавес снова поднялся, и на лазури неба и залива, залившей своим сиянием весь двор замка, предстал Ирод-Нарди, в пурпуре и царской митре, сидящий на троне, а вокруг него, четко вырисовываясь на фоне неба и моря, толпились царедворцы, вельможи и рабы. Высокая фигура почти нагого скульптора подавляла их всех. Арлани, опоясанный только вокруг бедер белой тканью, поражал красотой великолепного торса и мускулов. И под пиччикато мандолин, при звуках странной, легкой музыки, звенящей, как колокольчики, и изредка прорезываемой томными призы-

вами флейт и рокотом цимбалистов, на сцену выступила Саломея... Саломея, герцогиня Симонетта, точно закованная в узкое платье из зеленого шелка, блестящее и переливавшееся, как змеиная кожа, и местами расшитое огромными цветами из черного стекляруса.

Узкая сетка из изумрудов и сапфиров стягивала ее грудь, и обнаженные плечи и руки выступали из этого голубоватого чехла, как цветы, открывая при каждом движении подмышки и верхнюю часть обнаженных ног, потому что узкое зеленое платье было разрезано на бедрах и только тяжелая золотая бахрома оттягивала книзу легкую ткань.

Мертвенно-бледное под румянами лицо с расширенными и оттененными сурьмой глазами производило жуткое впечатление маски; тяжелые подвески трепетали на ее лбу, казавшемся совсем узким под причесанными в виде тиары волосами; они возвышались как темный конус, усыпанный синей пудрой и, как небесный свод, мерцали золотыми звездами. Она шла, выпрямившись и точно застыв в своем наряде и драгоценностях, и на длинной нитке жемчугов, спускавшейся от опала, сиявшего между ее грудей, почти у самого низа живота покачивался большой эмалевый цветок.

Она стала танцевать, но вдруг в больших неподвижных глазах ее, в ее немой улыбке отразился ужас, и, следя за направлением ее взгляда, вся зала, впивавшаяся в нее глазами, обернулась. Герцог занял свое место. Старый Бартоломео сел под балдахином, а возле него, в почтительной позе, опираясь рукой на бедро, стоял Андреа, Андреа Сальвиати, изгнанник, отверженный, впавший в немилость сын, возвратившийся враг, и взор его был полон угрозы.

На него смотрела Симонетта. Ирод на троне, святой Иоанн, коленопреклоненный позади танцовщицы, палач, стоявший возле своей жертвы, все опустили головы. Устремив неподвижные глаза прямо перед собою, как загнипнотизированная, Симонетта танцевала, но, когда, исполняя свою роль, по окончании танца, она обернулась к Ироду, чтобы потребовать у него головы оскорбителя, из всех гру-

дей вырвался крик, а герцогиня, раскрывшая рот, не в силах была издать ни звука.

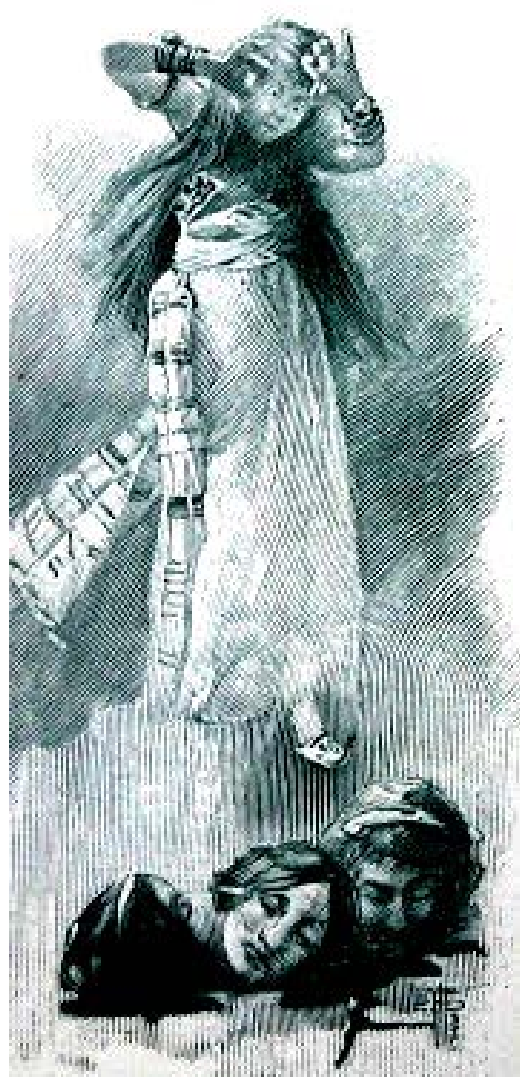
Герцог встал и, опираясь одной рукой на плечо сына, другой сделал знак... три отрубленные головы покатались к ногам Симонетты. Солдаты, поставленные среди актеров, в точности исполнили приказание: три удара секиры сне-сли голову святому Иоанну, палачу и Ироду, одна и та же кара постигла Нарди, Ардани и Барду.

— Они заплатили, — проговорил герцог, удаляясь.

Вечером того же дня несчастная женщина очнулась в смутном, колеблющемся мраке кельи, освещенной восковыми свечами. Дверь и окно кельи были замурованы, и у-зница была погребена здесь навеки. У ног ее, на блюде, ле-жали три окровавленных головы с закатившимися глаза-ми и вздыбившимися от ужаса волосами, три молодых муж-ских головы, безжизненных и мертвенно бледных под ру-мянами. И женщина, еще сверкающая камнями и шелка-ми, отшатнувшись от них, выронила из платья пергамент с печатью герцогов Сальвиати. Симонетта Фоскари подняла упавшую бумагу и, развернув ее, прочитала прощальные слова старика:

«Вы любили их живыми, любите их и мертвыми, суда-рыня. Вам угодно было жить с ними и для них, вам будет сладко умереть с теми, кто умер из-за вас».

Перевернув страницу, герцогиня нашла следующие уте-шительные строки: «Я тоже любил вас, Симонетта; я пом-ню это, и мне жаль вас. Их губы отравлены».



ГОБЕЛЕНЫ

Посвящается Габриэле д'Аннунцио

БЕСПОЛЕЗНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ
ОЧАРОВАННАЯ МЕЛУЗИНА
ПЛЕННАЯ МАНДОЗИАНА
ПОБЕЖДЕННАЯ ОРИАНА
ПРИНЦ В ЛЕСУ. — Хранительница. Nis Felicitas.
СКАЗКА КОСЦОВ

БЕСПОЛЕЗНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ



Уже три долгих дня ехал он вдоль дюн, цветущих бледным чертополохом, а на горизонте не белело ни одного паруса: с зари до заката перед ним расстилалась однообразная безбрежность спокойного моря, без единой морщинки, казавшегося аспидным под тусклым блеском белого неба. Порой конь его внезапно останавливался, вытягивал голову к морю и протяжно ржал; потревоженные в трещине скалы буревестники, шелестя крыльями, взвивались высоко в воздух, и красный песок зыбился от их тени.

Но юноша даже не поднимал головы. Под распластанными на шлеме орлиными крыльями, чело его было серьезно, и он задумчиво ехал у подножия утесов. Высокая

стена сланца тянулась на многие мили вдоль унылого моря. Сухая, почти лиловая трава, как пряди мертвых волос, свисала со скал, населенных лишь редкими морскими птицами.

По вечерам утесы становились розовыми, даже дюны загорались пожаром заката, и юноша сходил с коня, пуская его щипать синий чертополох, росший на песке, а сам старался утолить голод и жажду солеными ракушками. Когда же вставала луна, он продолжал свой путь.

В монастыре, где он воспитывался по приказанию своей матери-королевы, он дал обет найти, живым или мертвым, белокурого рыцаря, которому был обязан жизнью. Бертрам был плодом греха.

Рожденный от преступной связи королевы Аквитании, он был взращен лишь с мыслью о мести. Королева поклялась найти через сына покинувшего ее вероломного любовника. Молодой принц вырос в монастыре варнавитов; королева издали руководила его воспитанием, никогда не показываясь, и сын, которого она предназначала для трагической расплаты, не знал ее. Монахи воспитывали ребенка в строгости, внушая ему отвращение к любви, к женщине, ко всему, что цветет и радуется под небесами; пост и молитва закалили душу этого сына королевы. Под стальной броней Бертрам носил власяницу, и тройная веревка стягивала его бедра. Потом, в одно прекрасное утро, юному мстителю дали выпить волшебного напитка, натерли ему ладони и ступни кровью волчицы и велели отправиться в путь. «Ты узнаешь человека, омрачившего и истерзавшего твое детство, по трем изумрудам, сверкающим в его шлеме. Побелели ли его кудри, или остались золотыми, убей его, и ты отмстишь и за свою поруганную жизнь, за свою мать, за свой род и за своего Бога».

Эти роковые слова произнес таинственный голос в монастырской часовне, где Бертрам проводил ночь накануне своего посвящения в рыцари. Скрытая в тени фигура продиктовала приговор, и на следующий день с рассветом Бертрам выехал из монастырской ограды, закованный от верха шлема до острия шпор в черненное серебро, со свер-

кающим орлом, распластавшим над его головой огромные золотые крылья.



Поднявшаяся на монастырскую колокольню женщина долго следила за ним глазами в алом свете занимающегося дня. Когда силуэт юного искателя приключений исчез в вереске, королева распростерлась перед алтарем, и ночь застала ее за молитвой.

И вот теперь, при свете луны, серебрившей спокойное море, воспоминания о странных встречах тревожили молодого воина.

На третий вечер после его отъезда из монастыря, перед ним явились на опушке леса три молодых девушки, доче-

ри старого вельможи, как они сами называли себя, и окликнули его по имени. Они сидели на самом краю леса, но встали при его приближении и хотели перевить цветами уздечку его коня. Они были прелестны и шаловливы, венки из анемонов красовались на их волнистых косах, и они казались нагими под новыми туниками из узорчатого шелка. Стоя в росистой траве, они окружили его словно воз-



душным хороводом, и движениями, ласковыми взглядами, голосами и свежими, гибкими руками пытались удержать его. Но он резко пришпорил коня, чуть не опрокинув их: лесные эльфы любят по вечерам являться в таком виде странникам, и он помчался во весь опор под ветвями, не слушая их призывов.

Два дня и две ночи он ехал по дубовому лесу, потом тенистые своды деревьев сменились широкими лужайками, лужайки — унылыми равнинами, где горизонт порой скрывала завеса говорливых осин. В высокой траве блеснула зеркальная гладь прудов, и туман плавал над ними днем и ночью, как саваном окутывая призрачные стволы ракит. Потом он въехал в страну торфяных болот, где черная земля подавалась под копытами его коня. И однажды ночью, когда он проезжал по одному из этих мрачных болот, конь его вдруг взвился на дыбы, и Бертрам увидел на свинцовой воде бледный призрак.

Это была страшно бледная женщина, но взгляд и улыбка ее пылали странным восторгом; она поднялась, как блуждающий огонек, над группой водяных лилий и улыбалась в упоении, изгибаясь с страстной истомой, полураскрыв губы, выпрямив грудь и держа в руках маленькое серебряное зеркало.

Из-за камышей вдруг поднялась луна и, озаренная ее светом, блистая перламутровыми отливами, мертвая преградила путь молодому воину, протягивая ему и свои посиневшие уста, и серебряное зеркало. В пруду вдруг отразился сидевший на старой обломанной раките силуэт фавна и, когда юноша с отвращением оттолкнул бесстыдный труп, огромная лягушка выпрыгнула из травы и с глухим звуком шлепнулась в бледную воду..

Бертрам ехал по пескам и думал обо всех этих чарах, кознях и обманах чувств.

Чего хотели от него эти тени, эти странствующие во мраке ночи фигуры и каков сокровенный смысл этих искушений?

Он заметил, что бесшумная галера скользит вдоль берега наравне с ним; но он не слышал ни шуршания ее парусов, ни всплеска весел. Высокие мачты и снасти четко рисовались во мраке, и она казалась, призрачной, потому что скользила по воде, не рассекая ее, и все на ней было погружено в сон. На палубе не было видно ни одного матроса. Была ли она брошена на произвол судьбы, или же ее не существовало вовсе, и она тоже — лишь обман чувств?



Вода не плескалась у ее бортов; серая, как пепел, галера таинственно двигалась бок о бок с ним, и Бертрам решил бы, что грезит, если бы не заметил на носу неподвижного старика, должно быть, рулевого, пальцы которого перебирали струны лиры. Но и лира, вероятно, была заколдована, потому что струны не издавали никакого звука.

Когда же занялась заря, Бертрам очутился в стране, сплошь состоящей из долин и холмов, поросших живыми изгородями и яблоневыми садами. Призрачная галера, розовый песчаный берег и высокая стена утесов исчезли, и юный странник, уже переставший удивляться чему бы то ни было, поскакал по лугам между изгородями боярышника, перерезавшими эту страну садов. И здесь царило полное безлюдье. По цвету неба с несущимися облаками и по скрученному ветром яблоням чувствовалась близость моря. Он ехал уже целых пять часов по какой-то глубокой дороге, напоминавшей русло реки, как вдруг перед ним явилась прекрасная дама.

Она была одета в парчовое платье, затканное листьями осины и, стройная и прямая, как лилия, ехала без седла на единороге, красивом легендарном звере с блестящей, как металл, шерстью.

На черных волосах дамы красовался золотой шлем с небольшой короной и, как рыцарь, она держала в руках наперевес копьё.

Преградив путь юноше и угрожая ему своим копьём, она скрывала свое коварное намерение улыбкой и показывала Бертраму пальцем на огромную красную розу, алевшую, как кровь, у ее пояса. Но голова Бертрама была занята только мыслью предстоявшей мести; он отстранил мечом стальное копьё прекрасной воительницы и проехал мимо.

Красавица ударила его по лицу своей розой, но роза оказалась сухой, и, оглянувшись, юноша увидел старуху, скакавшую на осле.

«Опять козни лукавого», — подумал он, устало и грустно продолжая свой путь.

Наконец, он подъехал к какому-то зданию, по виду постоялому двору; еловая ветка свисала над дверью дома, и на пороге стояли три красивых девушки. Грудь их свободно вздымалась под грубыми шерстяными кофтами, они были босы, с непокрытыми головами, дышали здоровьем и силой и громко смеялись в теплых сумерках. Одна пряла, наматывал пряжу на веретено; другая, склонившись над каменной чашкой, мочила в ней коноплю, третья же, при виде молодого всадника, поспешно вошла в дом, но сейчас же возвратилась с кувшином вина. Она предложила Бертраму напиться, а две других стали упрямить ее слезть с коня и отдохнуть.

От них пахло потом, хлебом и лавандой, но Бертрам оттолкнул их. Тогда они с громким смехом убежали в дом, заперли дверь, и юноша остался один на большой дороге.

Но конь его подошел к забытой чашке и стал пить, а Бертрам, нагнувшись, громко вскрикнул.

Он увидел самого себя на дне чашки, отразившей его лицо, как зеркало, но в этом зеркале ему улыбалось лицо старика, старого воина с длинной белой бородой, усталым и печальным взглядом и всепрощающей улыбкой. То было бледное лицо давно минувших дней, обрамленное золотым шлемом, в котором горели три вкрапленных изумруда, и Бертрам узнал человека, которого должен был убить.

Так, значит, поразив его образ, он должен был убить самого себя. Сердце Бертрама сжалось от бесконечной печали, он понял, что состарился. Эти белые волосы были его волосами, эти тусклые глаза — увы! — были его глазами, и он понял, слишком поздно, к сожалению, что стремился к невозможному. Надо жить, не презирая любви, страсти, наслаждения и даже мимолетного случая, а он обманывал себя изменчивым миражом, как рулевой бесшумно скользившей галеры... И бесполезно было думать о возвращении... ибо каждый час уходит безвозвратно.



ОЧАРОВАННАЯ МЕЛУЗИНА

I

Был взгляд ее пьяней, чем вина,
Невыразима белизна;
Глаза светлей аквамарина,
Коса, как золото, нежна.

Полна соблазна Мелузина,
За то изгнанью предана.

От городских валов далеко
Она блуждала по лесам
В слезах и страхе одиноко,

Парча рвалась о ветви дрока,
И кровь струилась по ногам
В лужайках, где растет осока.

Так в область фей она пришла,
Где ланды зелены от терна.
За нею волки шли покорно.
Луна, что по небу плыла,
И звезд сверкающие зерна
В тот миг, когда она не шла, —
С ней вместе замирали...

Раймонден Лузиньян проснулся. Ясеновая роща, в которой он заснул, тихонько плакала под дождем, и на горизонте, тонувшем в тумане, поросшие вереском ланды тянулись, уходя в беспредельную даль. Разбудившая его песня смолкла. Насколько хватал глаз, всюду царили тишина и безлюдье.

Сколько часов проспал он в этой дикой роще и куда девалась его свита? Его охватило сильное смущение и, сев на вереске, он с любопытством ощущивал свои руки, бока и

влажный от испарины лоб, бессознательно радуясь этому дождю.

Странная песня преследовала его и, когда пальцы его наткнулись на костяной рог, висевший у его пояса, он вспомнил, что в полдень, под жгучим солнцем, проезжал по равнине, заросшей вереском. Его охватило странное оцепенение, непобедимая усталость, и он, должно быть, поддался ей, потому что, семь часов спустя, очнулся в сумерки, сидя под дождем с обнаженной головой, а в сердце его звучало имя, которого он никогда не слышал: Мелузина! Мелузина! Имя это было так нежно, что, казалось, ласкало губы, как прикосновение любимых уст, и опьяняло мысль, как любовный напиток. Но он был один; ни души в чертополохе и вереске, тянувшихся на десятки миль по серой от дождя равнине к замыкавшим горизонт холмам, а песнь все еще звенела в его ушах, — и песнь, и певший ее металлический голос. В эту минуту, испуганно взмахнув крыльями, над головой его поднялась ворона, и Лузиньян вспомнил тогда, что маленькая оборванная и сморщенная старушонка, собиравшая хворост у мшистого подножья ясе-ней, встретила-сь ему на опушке, когда он въезжал в лес.

В полдень — старуха, а в сумерки — ворона.

Лузиньян, бесстрашный истребитель волков и кабанов, умел прочитать по-латыни только молитву Господню и молитву Пресвятой Деве. Он сейчас же прочитал их, подозревая, что причиной его долгого сна были какие-нибудь козни волшебниц.

Ведь говорят же, что они пляшут по ночам в пахучем от чертополоха воздухе над ландами и в лунном тумане над прудами. И, трижды сотворив крестное знамение, граф поднялся, движением плеча стряхнув дождевые капли, собравшиеся в складках его пурпурного плаща, и, определив направление по последним лучам догорающего заката, пошел прямо вперед, через вереск, к своему замку.

II

«И завистливые феи превратили ее в змею; ее все-
сильная красота, чаровавшая небесных птиц и бродячих
лесных зверей, ныне наполняет ужасом пустынную мест-
ность.

Превращенная в чудовищную гидру, она спит днем на
солнце, свернувшись в бурой траве ланд; ночью она уныло
пресмыкается по камням посеребренных луной пересох-
ших рек, и ее шипение, как вздохи сожаления, будит эхо в
оврагах и ущельях.

Где это? Очень далеко и совсем близко, здесь и там, в
стране фей, что невидимо стерегут свою пленницу, в золо-
тых ландах, где зеленеет хмель и где вы сотни раз проез-
жали, не подозревая, что коварные чаровницы смеялись в
кустах, усевшись в кружок около вас.

В стране фей, где заколдованная гидра уже сто лет ждет
отважного рыцаря, который, сжав обеими руками ее голо-
ву, решится поцеловать ее липкие губы, в которых обитает
смерть.

Ревнивые феи превратили ее в змею; ее все-
сильная красота, чаровавшая небесных птиц и бродячих лесных
зверей, ныне наполняет ужасом пустыню.

Лишь уста человека разобьют чары, но гидра все еще
ждет обещанного героя. Когда же в бурой вересковой рав-
нине, томящейся от зноя, со свистом поднимется на хвосте
сонная змея, сдавленная за шею своим освободителем? Ко-
гда же освобожденная наконец красавица выйдет из чешуи
чудовища, нагая, как перл, и белая, как пена?

Чары — в спящей красоте, заключенной в чешуйчатой
и шуршащей оболочке гидры; освобождение — в поцелуе
героя с душой, достаточно отважной для того, чтобы вы-
пить яд и бросить вызов смерти.

Тому, кто выполнит этот подвиг, дано будет могуще-
ство и многочисленное потомство, богатство и слава, он бу-
дет основателем отважного и владетельного рода».

Голос смолк, словно заглушенный толстой стеной. Раймонден спал, скрестив руки на груди, в большой дубовой кровати, украшенной его гербами; он поднялся и сел, весь в испарине. Говоривший во сне голос не произнес никакого имени, но он был убежден, что он говорил о Мелузине, снова и неизменно о Мелузине. Он прислушался; ему показалось, что он уловил звук голосов под окном. Он вскочил, подбежал босиком по холодному полу к узкому окну, выходившему в поле, и быстро открыл его: на востоке едва занималась заря, бледная и холодная заря последних дней октября. Туманный саван колыхался над долиной, похожей на море испарений, и местами из него выдавались вершины полузатопленных холмов.

И Лузиньян, наклонившись из окна, увидел в тумане, у подножия графской башни, какого-то нищего с заплетеными, как у цыган, бородой и волосами.

В ушах его болтались медные серьги, он был закутан в широкий полосатый плащ и, опираясь на палку обеими руками, поблескивая из-под косматых бровей глазами, бормотал невнятные слова. Судя по его жестам, он в чем-то убеждал солдат, которых Лузиньян не мог видеть, но догадывался, что старик говорит, вероятно, со стражей, охраняющей потайной ход.

Лузиньян крикнул и приказал немедленно привести к себе старика. Но конюший его вернулся с поникшей головой; он не видел никого у подножия башни. Сеньору, вероятно, пригрезилось во сне, часовые у потайного хода не видели никого со вчерашнего вечера.

Раймонден с досадой подошел к окну. Загадочный нищий с заплетенной бородой исчез, растворился в тумане, как призрачное видение.

Тогда бедный граф впал в глубокую тоску.

С этого дня все, что интересовало его до сих пор, — стрельба из лука, военные упражнения, бросание копья и даже веселая охота с соколами по равнинам и облавы в дремучих лесах на кабанов и оленей, — все, что составляло радость его прежней жизни, вдруг перестало занимать его. По целым дням, угрюмый и равнодушный, он странствовал

по полям, не обращая внимания, куда ступает его конь. Он предоставлял ему брести по нивам и сквозь заросли кустарников и скорее напоминал беспокойный призрак в погоне за несбыточной мечтой, нежели благородного и смелого рыцаря. По вечерам он возвращался домой, изнемогая от усталости и, не разжимая губ, садился за накрытый стол, не слушая даже благословений капеллана. По воскресеньям он лишь на краткое мгновение заходил в церковь; он разучился преклонять колени, садиться, и друзья не узнавали его. Он исхудал, стал бледен и угрюм, запустил волосы и бороду. Взлохмаченные и запыленные, они выбивались из-под его шлема, а по ночам он внезапно вскакивал и в ветер и дождь принимался шагать по валам, окружавшим замок. Он точно прислушивался к каким-то голосам, и часовые дрожали от страха, когда в полночь он проходил мимо них, бормоча невнятные слова. И по всей стране распространился слух, что цыгане сглазили графа.

Через год после этого, в знойный августовский день, когда он возвращался в сумерки из одного из своих далеких и бесцельных странствований, в которых проходила теперь его жизнь, конь его, уже отвыкший от уздечки, всегда небрежно брошенной на его шею, вдруг вздрогнул и остановился, и всадник, очнувшись от своего оцепенения, приподнялся в седле и широко раскрыл глаза. В нескольких шагах от него, в широком обнаженном поле три женщины или, скорее, три смутных очертания женских фигур колыхались и как будто плясали вокруг яркого костра из сухих трав. Похожие на нищих старух, под странно светящимися лохмотьями, они яростно потрясали тощими обнаженными руками над пламенем и с диким хохотом, который скорее можно было угадать по судорожным изгибам их тела, чем услышать, кружились в дыму и казались прозрачными, светлее даже воздуха этого яркого летнего дня с янтарным отсветом на фоне алого огня заката.

Они трижды произнесли его имя и испарились в воздухе, и Лузиньян вспомнил о старушке, встреченной в ясеневом лесу, потом о нищем, мелькнувшем на рассвете у потайного хода замка.

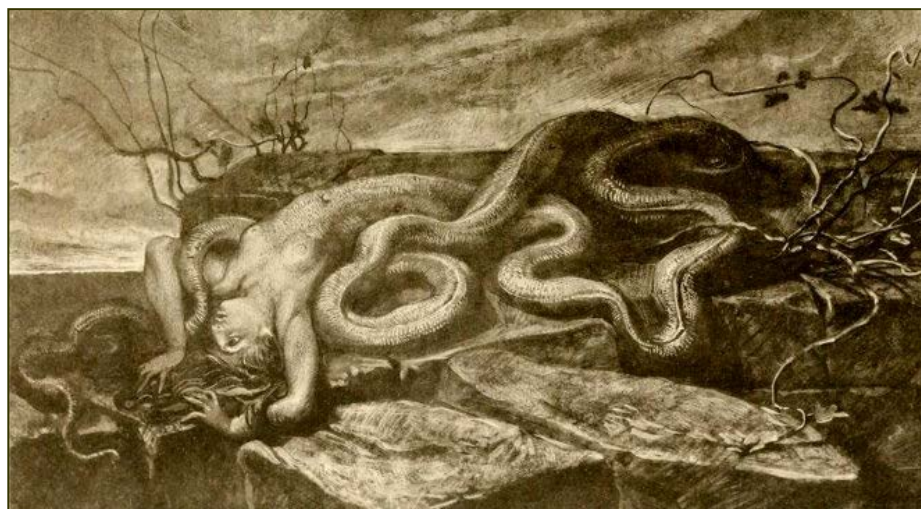
Но кто же была третья? Двоих он узнал. Но не узнал третьей и, что пугало его еще больше, не узнавал местности, в которую привез его конь. Эта волнистая равнина, стелившаяся по земле, деревья и цепь гор на горизонте были ему незнакомы. Бесконечная печаль сжала его сердце в этой безотрадной пустыне. Он находился уже не среди необозримой равнины, по которой проезжал несколько минут назад; перед ним расстилалась невозделанная, изрытая пересохшими потоками ланда, поросшая карликовым чертополохом и высокими лиловыми цветами и местами покрытая развалинами храмов и обломками колонн, загромождавшими почву. И, хотя в воздухе не было даже намека на ветер, мертвенно-розовые мальвы и сердитый чертополох печально трепетали под зеленым и красным небом, красным, как кровь, и зеленым, как края незажившей раны,

Он подогнал коня, но конь не повиновался, и Лузиньян, нагнувшись, чтобы узнать, что остановило коня, увидел у своих ног Змею.

Зеленая с золотыми блестками гидра спала, свернувшись на куче сухих листьев. Кожа ее на брюхе переходила в цвет небесной лазури; треугольная, невероятно маленькая головка с раскрытой пастью обнажала тройной ряд острых зубов, и шесть тяжелых ожерелий, украшенных драгоценными камнями, обвивали через правильные промежутки ее тело, указывая на ее царственное происхождение. Голова ее покоилась на большой пурпуровой лилии. Лузиньян, сойдя с коня, привязал его к растущему вблизи кипарису и, подойдя украдкой, внезапно схватил змею за голову, сжимая ее изо всех сил, поднял к губам и, несмотря на свое отвращение, прижался губами к пасти чудовища.

Разбуженная гидра с пронзительным свистом яростно обвилась вокруг храброго рыцаря. Она сжимала его тело кольцами своего могучего тела, плотно стиснув хвостом его ноги, и впивалась ему в грудь своей холодной чешуей.

И, задыхаясь в ужасном объятии, не сводя глаз с раздвоенного языка, грозящего ему смертью, замирая и холодея от слабости, рыцарь трижды проглотил ядовитую слюну чудовища.



Тогда в безлюдной пустыне, испуганно облетели лепестки с высоких мальв, а чертополох вспыхнул металлическим отблеском. С громким, протяжным криком освобожденная нагая красавица выскользнула из отвратительной оболочки и обвила руками шею своего победителя, но вдруг опустила глаза, большие, темные, как ночь, глаза, и порозовела вся от кончиков больших пальцев на босых ногах до светлых роз груди. Мелузина увидела, что на ней нет одежды, и застыдилась.

Лузиньян накинул свой воинский плащ на сверкающую наготу девушки и, поцеловав ее влажные губы, посадил на коня позади себя. Конь весело заржал, и, трепеща от желания, с преисполненным радостью сердцем, гордый граф повез свою краснеющую невесту по розовому вереску снова знакомого поля.

В кустах голоса волшебниц пели: «Лузиньяну могущество и большое потомство! Лузиньяну богатство и слава! Лузиньяну воинственный и царственный род!» Солнце совсем уже скрылось за горизонтом, и последний косой луч золотой точкой горел в белокурых волосах Мелузины, ехавшей позади своего властелина и призванной создать славный род Лузиньянов.

ПЛЕННАЯ МАНДОЗИАНА

Принцессе Мандозиане было шестьсот лет. Уже шесть веков жила она, вышитая по бархату, с лицом и руками из цветных шелков. Платье ее было все сплошь расшито жемчугами, воротник топорщился от тяжелой вышивки, а арабски на ее вытканном из серебряных нитей платье были из самого чистого золота.

Заморская мантия, расцвеченная анемонами, застегивалась на ее груди настоящими самоцветными камнями, и круглые сапфиры блестели вдоль края ее платья.

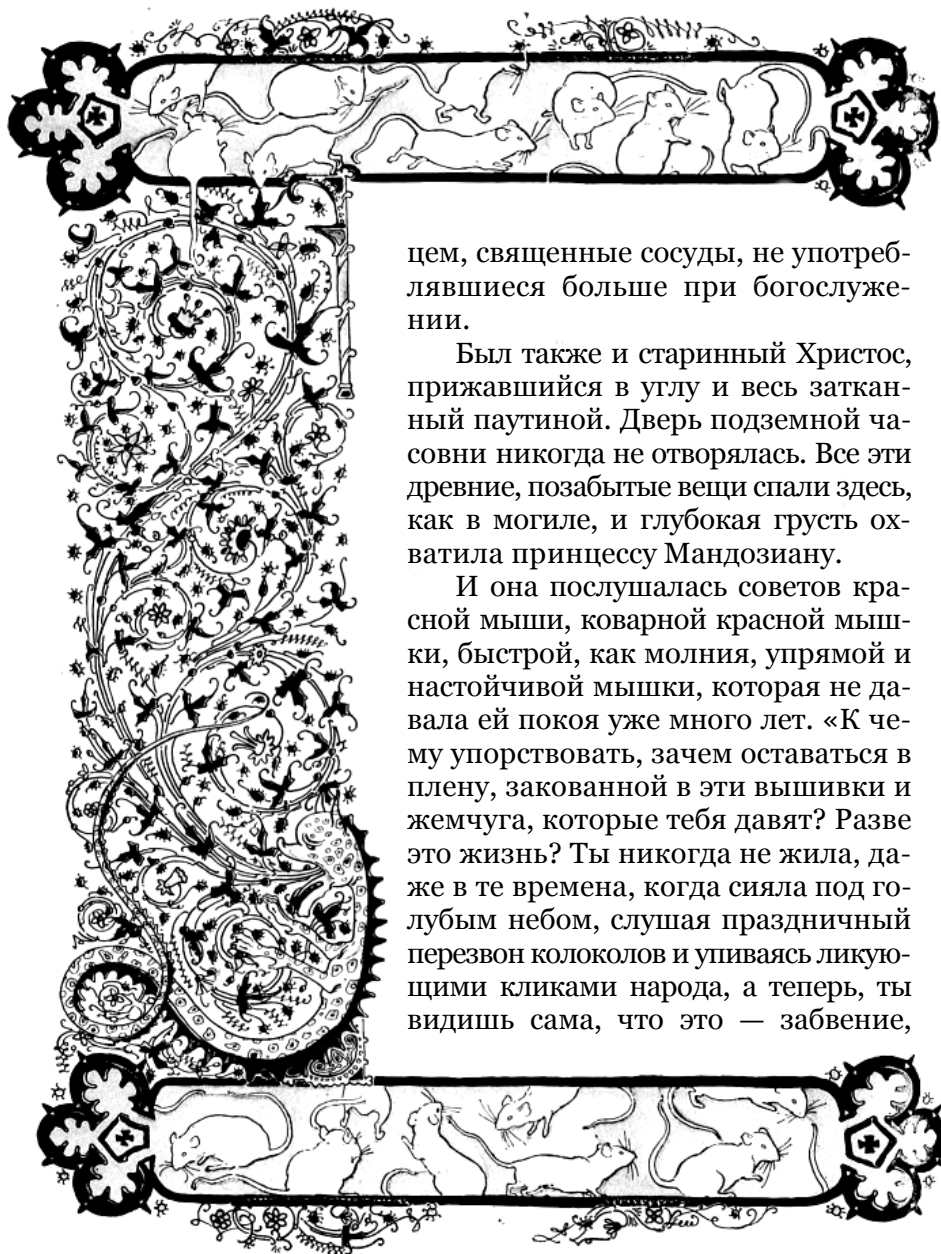
Много столетий являлась она на процессии и царские праздники. Ее выносили на древке от знамени, и сверкавшие на ней драгоценности восхищали королев и простой народ. То были счастливые времена, когда по украшенным флагами улицам, под шелест ярких знамен, народ приветствовал принцессу Мандозиану. Потом ее торжественно относили назад, в сокровищницу собора, и за большие деньги показывали иностранцам.

И, действительно, эта необыкновенная принцесса была чудом. Она была плодом мечты и упорного труда двадцати монахинь, которые в течение пятидесяти лет томились, создавая из мотков серебра и шелков ее чудесный священный образ.

Волосы ее были из желтого шелка; на месте глаз сверкали два турмалина дивного голубого цвета, а к сердцу она прижимала сноп белых бархатных лилий.

Потом время процессий миновало; троны пали, короли исчезли, цивилизация шла вперед, и принцесса из жемчугов и цветных шелков оказалась заточенной в сумраке старого собора.


Она проводила там дни в полумраке склепа вместе с грудой странных предметов, смутно белевших по углам. Тут были старинные статуи, кубки рядом с дароносцами, древние церковные украшения, ризы, еще не смявшиеся и как бы разрисованные медленно гаснущим во мраке солн-



цем, священные сосуды, не употреб-
лявшиеся больше при богослуже-
нии.

Был также и старинный Христос,
прижавшийся в углу и весь заткан-
ный паутиной. Дверь подземной ча-
совни никогда не отворялась. Все эти
древние, позабытые вещи спали здесь,
как в могиле, и глубокая грусть ох-
ватила принцессу Мандозиану.

И она послушалась советов кра-
сной мыши, коварной красной мыш-
ки, быстрой, как молния, упрямой и
настойчивой мышки, которая не да-
вала ей покоя уже много лет. «К че-
му упорствовать, зачем оставаться в
плену, закованной в эти вышивки и
жемчуга, которые тебя давят? Разве
это жизнь? Ты никогда не жила, да-
же в те времена, когда сияла под го-
лубым небом, слушая праздничный
перезвон колоколов и упиваясь ликую-
щими кликами народа, а теперь, ты
видишь сама, что это — забвение,



смерть. Если бы ты захотела, я перегрызла бы своими острыми зубами один за другим шелковые и золотые стежки, которые держат тебя вот уже шестьсот лет прикованной к этому переливчатому бархату, и, между нами говоря, он уже порядочно выцвел. Может быть, тебе будет немножечко больно, особенно когда я буду распырывать около сердца, но я начну с длинных линий, с рук и с лица, так что ты уже сможешь двигаться, сможешь потянуться, и увидишь, как приятно дышать и жить! Такая красавица, с таким лицом, как у сказочной принцессы, и с несметными сокровищами, которыми сверкает твое платье, ты сможешь одеваться у самых лучших портных; люди подумают, что ты — дочь

банкира, и ты выйдешь замуж, по крайней мере, за французского князя. На тебе ведь на несколько миллионов драгоценных камней! Позволь мне освободить тебя, ты перевернешь весь мир!

Если бы ты знала, как хорошо быть свободной, вдыхать полной грудью вольный ветер и следовать только своей собственной фантазии! Ты закована в эти опалы и сапфиры, как рыцарь в латы, а ты даже никогда не сражалась. Я знаю дороги, которые ведут в страну Счастья. Позволь освободить тебя из этого вышитого чехла, и ты расцветешь, как цветок на солнце. Мы объединим с тобою весь мир, и я обещаю тебе тронь и любовь героя!»

И принцесса Мандозиана согласилась. Маленькая красная мышка сейчас же приступила к своему смертоносному делу; зубы ее пилили, рвали, врезались в изъеденный молью бархат. Жемчуг звенел, падая на пол зерно за зерном, и в светлые лунные ночи, и в яркие солнечные дни в подземелье, освещенном скважиной в высоком своде, красная мышка грызла, рвала и терзала, безостановочно продолжая свою работу.

Когда она принялась за знаменитый нагрудник из перламутровых блесток и жемчуга, принцесса Мандозиана почувствовала, как будто в сердце ей проникло острое лезвие.

Уже несколько дней она ощущала точно легкий озноб и становилась все легче. Странно гибкая среди всех этих распоротых стежков, она колыбалась в складках ткани, точно колеблемая легким ветерком, и с восторгом ждала, чтобы мышка окончила свою работу.

Когда зубы маленького грызуна вонзились в грудь бедной принцессы из шелка и блесток, она почувствовала, что силы покидают ее. На плиты темной часовни, как струя мягкой золы, посыпались волокна пушистого шелка, оборванные галуны и светлые блестки; самоцветные камни показались, как хлебные зерна, и старый, изъеденный молью бархат знамени разорвался сверху донизу.

Так умерла принцесса Мандозиана за то, что послушалась коварных советов маленькой мышки.

ПОБЕЖДЕННАЯ ОРИАНА

Луна проникала в пещеру, бросая голубоватые блики на каменные стены с вкрапленной в них слюдой. Зыбкая завеса из плюща, местами усеянная, как звездами, крупными цветами повилики, закрывала вход плотной и гибкой сеткой листвы и цветов. Лесная прогалина и самый лес казались совершенно белыми от трепетных, белых лучей светила, дрожавших на белых кронах каштановых деревьев.

Своды гота, опиравшиеся на три базальтовых колонны, уходили в призрачный сумрак, и весь грот зарос омелой, жимолостью и высокими папоротниками со странно блестящими зубчатыми листьями. Всюду, из трещин свода, из скважин колонн и пола выбивалась буйная растительность. Ежевика, шиповник, ползучий хмель, пушистая цикута и широкие лопухи с бледными бархатными листьями, — все это переплеталось, тянулось вверх, спускалось, обвивая друг друга, и ползло по мху, слабо трепеща дрожащими стеблями и жизнью соков под светлой голубизной луны, скользнувшей снаружи в темную пещеру.

Порой под каштанами слышался легкий шорох — дыхание спящего леса, потом ветерок летел дальше, вспугивая птишек в густой заросли кустарников, и громкое ржание прорывало безмолвие: табун диких кобылиц пронесся галопом под потревоженными ветвями, и луна бросала причудливые узоры на их блестящие спины.

Лес был полон табунами этих кобылиц и вольных коней, они носились по нему во всех направлениях, с шумом ломая ветки. С развевающейся гривой и белой от пены грудью они скакали вслед за самым старым в табуне жеребцом, а в весенние ночи яростно дрались до зари, с ржанием кусая друг друга в брюхо: в кустах пугались птицы, робкие косули дрожали в чаще, и лес становился недоступен из-за охранявших его бесчисленных диких лошадей, готовых растоптать осмелившегося зайти в него человека.

Высокие папоротники и ежевика дремали в пещере, серебристые капельки искрились на листьях жимолости, освещенных луной. В сетке плюща цветы повилики, казалось, раскрывались шире и, как иней, белели в густой заросли зелени, под которой теперь загорались золотисто-красноватые и стальные отблески. И вдруг, среди хаоса колючек и лопухов, волшебным цветом расцвела целая нива мечей. То были кельтические мечи с огромными рукоятками, готские, обоюдоострые, прямые шпаги, сарацинские ятаганы с кривым лезвием, англо-саксонские копья и даже длинные франкские пики.

И, словно забытые здесь после битвы, поднялись ослабшие луки, колчаны и стрелы, вонзившиеся местами в ветви, как грозные цветы; колючие кусты колыхались теперь над землей, покрытой щитами и шлемами, в которых луна отражалась, как в зеркалах; на них осыпались лепестки словно зачарованных шиповников, и из-под этой железной флоры, медленно, завороченные тенью, выступали лица спящих воинов.

Бритые головы и пышные белокурые кудри, толстогубые и курносые лица смелых темнокожих язычников, опущенные веки с видневшимися из-под них навсегда остановившимися глазами сынов нормандской расы, широкие плечи готских воинов, стройные мускулистые торсы саксонских всадников, седые бороды старых ветеранов и безусые, розовые, почти ангельские лица юных пажей — их было, наверное, около сотни, и они спали здесь, в этом гроте, блиставшем металлическими отсветами, под стальным лесом своего оружия, навеки плененного плющом и терновником, рыцари и бароны, паладины и пираты, христианские короли и неверные собаки-язычники, белокурые эфебы и старые оруженосцы; одна и та же греза чарует их закрытые глаза и окружает чело их ореолом экстаза. Раскинувшись все сто в различных позах — одни откинувшись назад, другие лежа ничком, закрыв голову руками, все замерли с одним и тем же жестом восторженной и пламенной мольбы, потому что у всех сложены руки, и чувствуется, что они все должны были заснуть, устремив взор

на одно и то же видение, шепча устами одно и то же имя: «Ориана!».

И наконец, вызванная и облеченная в плоть пламенным желанием своих любовников, Ориана сама появляется в заколдованной тени грота и озаряет его своим появлением.

Она стоит в ореоле молочно-белых, трепетных лучей, похожем на световое кольцо, которым окружается луна в дождливом небе, и волшебная нагота ее выделяется на фоне прозрачных изломов ледяного собора. Над нею повисли сталактиты, и три хрустальные ступени блистают у ног ее зеленоватой влагой. Она вся мерцает сиянием жемчуга и снега. Бледная волна волос, доходящая до ступней, светится как иней, позлащенный огнем зари, и нагое тело ее блистает, как перл, сказочный перл, чуть розовеющий на кончиках груди, ногтях и концах пальцев, и лишь уста ее, обитель поцелуя, алеют, как лепестки раскрывающегося цветка.

Плененная их желанием, как они пленены ее красотой, Ориана выпрямляется и медленно движется под волной светлых, как луна, волос, сладострастно изгибается, потом, ослепленная, склоняется к овальному зеркальцу, которое держит в руке; это чудесный опал, и в нем по очереди появляются и исчезают умоляющие лица всех воинов.

Сколько лет уже Ориана держит их здесь, в своем заросшем терновником и цикутой гроте? Они неподвижны и безгласны, отрезаны от жизни и почти превратились в призраков. Одни спят здесь уже сто лет, другие — пятьдесят; некоторые — двадцать зим, а иные — лишь месяц. Целое столетие любви и безумных вожделений дремлет здесь, в глубине леса, погружившись в сладкую мечту, оторвавшую их от мира и охраняющую от смерти. Каждый из спящих здесь со сложенными в экстазе руками явился сюда в прекрасное апрельское утро или в теплый осенний вечер, в шлеме на челе и с надеждой в сердце, и каждый плоской стороной меча постучал у порога пещеры. Каждый сошел с коня, привязал его к дубу и, лепеча слова любви, ступил под завесу темного плюща.

И конь, утомившись ждать и оципав все листья на дереве и траву у своих ног, оборвал свою привязь и убежал в лес, где постепенно одичал. Кобылица юного пажа встрети­лась там с конем рыцаря, и ныне табуны их вольных потомков скачут с громким ржанием по объятому ночной дремой лесу, пробуждая его громким треском сухих ветвей.

В эту прекрасную июльскую ночь, среди мечтательной задумчивости цветущего леса и обожания своих дремлющих любовников, Ориана печальна; она слышит ржание табунов, но знает, что лес уже перестал быть недоступным и что времена изменились. Неподкупный герой, воспитанный монахами в отвращении и ненависти к женщине, гордый юноша с отважным сердцем и безгрешными руками, проник в него. Он уже переступил за лесную опушку и, крепко сидя в седле, закованный с головы до ног в матовое серебро, печальный и словно поблекший, как сама тусклая луна, плывущая по блеклому небу, он подвигается медленно, но уверенно и неуклонно по короткой траве дорог и среди буйных овсов прога­лин, по благовонным лужайкам ее леса, по которым ей не придется больше порхать пчелкой в полдень, а в сумерки — стрекозой, потому что жестокий юноша несет с собою в правой руке освобождение, а в левой — смерть.

Освобождение — им, спящим, а смерть — ей, и даже хуже, чем смерть, старость, а старость и есть смерть женщин и фей, потому что она гасит любовь и губит желание.

И Ориана наклоняется, чтобы в последний раз улыбнуться себе в опаловом зеркале, которое уже тускнеет. А между тем, что она сделала этим монахам? Она, чаровавшая и опьянявшая взоры, краса и радость природы в виде ли луча, венчика, трепетного крыла или женщины, что сделала она, чтобы против нее выслали этого жестокого победителя? Времена изменились, и против него все сладкие чары ее окажутся бесполезными! Ориана знает это заранее, потому что он идет к ней, ожесточенный ненавистью и пылая злобой, в качестве судьи и мстителя. Он ненавидел и презирал ее красоту, поработившую других, и предпри-

нял это опасное путешествие не столько для того, чтобы освободить их, как для того, чтобы покарать ее. Он презирал в глубине души этих героев, которых могла победить женщина, и его ненависть к ней еще усиливалась презрением к их слабости. И жестокосердый юноша приближался с каждой минутой. Сообщница-сова направляет его путь, перелетая перед ним с дерева на дерево.

Стоя на своем зеркальном троне, Ориана слышит из глубины темного грота завывание страшной ночной птицы, слышит, как раздвигаются ветки, и рукоятка меча ударяется о седло; и каждый шаг коня отдается болью в ее сердце.

Конечно, она могла бы смутить его искусными миражами, обманчивыми видениями и замедлить его путь сквозь непроходимую чащу и неожиданные болота, могла бы скрыться сама, превратившись в призрачного зверя, птицу или цветок, но к чему? Времена изменились, она побеждена заранее. С юношей этим шел Христос. Христос — враг радости, наслаждения и любви. Это он выслал против нее этого палача с лицом архангела. Две слезы, как капли жемчужной росы, блеснули на светлых глазах феи, и зеркало ее вдруг совсем потускнело. Кроткая Ориана знала, что она незащищена: она любила своего победителя.

В эту минуту яркий свет разлился по всему гроту. Острием меча юноша прорвал зыбкую завесу плюща, закрывавшую его вход.

Словно закованный луной в серебро, стройный черный силуэт вырисовался на лужайке, силуэт в высоком шлеме, на шишаке которого сидела, распростерши крылья, живая сова: то был Амадис.

Тогда, подняв к губам боевой рожок из рога зубра, Амадис трижды протрубил изо всей силы своих легких, и, взяв за лезвие меч с крестообразной рукояткой, проник в пещеру. «Именем Всемогущего Христа и Пресвятой Девы, пусть откроются очи, смущенные лукавым, пусть восстанут христианские герои, скованные злыми чарами!» И распростертые тела поднялись, гремя железом. Амадис увидел, что под ржавым и поломанным вооружением лица восстав-

ших из-под цветов и растений людей были зеленовато-бледны, как у мертвецов, и головы их блестели, как черепа скелетов. И Амадис невольно отступил. Со зловещим стуком берцовые кости прикреплялись к бедрам, и вялые мышцы с глухим звуком подавались под давлением скрюченных, высохших пальцев. Трупный запах кружил голову. Ужасное видение длилось всего мгновение. После тщетных попыток подняться, останки рыцарей рухнули в кусты, и трупы стали медленно разлагаться. Заклинание Амадиса пробудило лишь тление, давно уже бывшее добычей червей. И от нарушенных чар, как прорвавшаяся плотина, потоком хлынуло то, что уже много десятилетий было достоянием могилы. Только один скелет, сидевший под лунным лучом, с запутавшимися в цветущем шиповнике позвонками, смеялся беззвучным смехом.

Стоя посреди груды мертвых тел, Амадис проникся смертельной тоской. И Ориана сказала ему: «К чему послужила твоя храбрость? Они грезили и жили своими грезами. Она знала, что делала, когда вела тебя сюда!» И дрожащей сморщенной рукой, уже превратившейся в руку старухи, фея указала на сову: «Ты приготовил ей пищу». Амадис взглянул на нее; бедная Ориана! Внезапно поседевшая, сгорбленная, беззубая, разбитая, похожая на призрак, с кожей цвета золы и белыми, как бельма, глазами под кровавыми ресницами, Ориана, только что сиявшая жемчужной наготой, простерла к герою длинную руку Сивиллы и глухим голосом проговорила: «А я, что сделала я тебе? Их грезы и желание дарили мне юность. Прекрасная, как их любовь, я улыбалась их мечтам, и моя улыбка озаряла их и предохраняла от смерти. Ныне неисчислимость лет, забытых возле меня, и тяжесть их сожалений подавляют меня, пробуждение их состарило меня на тысячу лет, и я, безобразная и безутешная, должна в течение тысячи лет прожить все жизни, которые были предопределены для них на земле. О, несчастный юноша, последняя иллюзия, остававшаяся у людей, цвела в этом лесу, и ты убил ее». С этими словами она исчезла.

Над лужайкой занимался рассвет. Тусклый отблеск озарял нагроможденные в пещере трупы и, склонившись над мертвой головой, сова с жадностью рылась клювом в черных отвратительных впадинах, в которых некогда сияли небесно-голубые глаза.

ПРИНЦ В ЛЕСУ

Хранительница.

Старинная ли это сказка, или же греза моего детства, обстановка и действующие лица которой томят мое воображение? Она преследует меня с болезненной настойчивостью, но я не могу вспомнить, в каком сборнике легенд или волшебных сказок я видел этот таинственный заманчивый образ, и всюду перед мной встает темный и очень высокий лес со стволами гладких, как колонны, берез, с разбросанными кое-где группами сосен, залитых голубоватым светом, и подножием, даже среди дня точно купающимся в дремотном лунном сиянии.

Станный лес. Шаги в нем были беззвучны; сквозь высокие ветви точно струилась живая лазурь, а на земле, усыпанной сосновыми хвоями, не видно было ни былинки мха, ни цветка; порой лишь среди двух деревьев вспыхивал голубой венчик, словно призрачный ирис, распутившийся в жуткой тишине этого леса, но вблизи он оказывался лишь светлым пятном, упавшим сквозь прорыв зеленого свода, или куском шершавой коры, на который брызнуло солнце. Все в этом мечтательном и безмолвном лесу становилось голубым, а тишина его, не нарушаемая никаким звуком, вселяла тревожное чувство.

Принц блуждал в нем уже много часов, не зная сам, как попал сюда. Впрочем, нет, он вспомнил: его заманила сюда веселая сойка, перепархивавшая с дерева на дерево на краю его парка.

Очарованный щебетанием птички, охваченный мечтательностью, к которой, однако, вообще он не был расположен, он вышел за решетку парка и почти тотчас же очутился в этом безмолвном и голубоватом лесу, которого никогда не видел, а между тем, он знал всю страну на расстоянии двадцати миль в округе, так как изъездил ее вдоль и поперек, охотясь за дикими зверями. Сойка исчезла. В

лесу не было птиц, царила глубокая тишина и сумрак, и это безмолвие сначала успокоило принца, так как в заколдованных местах всегда появляются на мху чьи-то обнаженные ноги, слышатся взрывы смеха, отдаленная музыка и манящие юные голоса. Ничего этого не было у подножия гигантских берез, возвышавшихся на некотором расстоянии друг от друга, как колонны храма, но под конец эта симметрия начинала пугать, а безмятежное спокойствие сжимало сердце. Этот пустынный лес был ему совершенно незнаком. Он появился перед ним так же внезапно, как появляется огромный коралловый остров; должно быть, тут не обошлось без чар, и этот кошмарный лес, вероятно, очень велик и тянется на многие мили, так как он шел уже несколько часов, подавленный жуткой тишиной этих деревьев с неподвижной листвой и без птиц; не шелестело ни ветерка, не видно было дровосека, и даже сама жизнь соков была здесь как будто скована; лес был безлюден, пустынен, и безотрадность этого уединения была так тягостна, что он предпочел бы ей любую опасную встречу.

Страх его все возрастал. Холодный пот выступил на его висках, как вдруг перед ним выросла женская фигура: страдальческая, пламенная и тоскующая голова с бесконечно печальными, сияющими и пустыми глазами, с выражением несказанной печали и сострадания в сжатых уголках губ и на исхудалом лице.

Огромный терновый венок, тот самый, которым иконописцы венчают чело Спасителя, выступал из-за этой головы, и в бледном ореоле его лицо, изборожденное потоками слез, мертвенно бледное, но спокойное, как лики блаженных, казалось лицом жертвы, так как неведомый экстаз преображал болезненные черты этого горестного видения. Женщина стояла прямо, вырисовываясь на ультрамариновом фоне группы сосен, и слабой рукой прижимала к платью, в том месте, где бьется сердце, сноп мертвенно-голубых цветов чертополоха, бледные листья которого были покрыты кровавыми крапинками. И все страдальческое лицо ее мерцало в рамке тернового венца, как голубое пламя того же оттенка, что и упоительная лазурь ее глаз.

Принц остановился, ослепленный, пораженный и очарованный.

Тогда глубокий низкий голос произнес:

— Ты не узнаешь меня, так как слишком молод и не мог меня еще встретить. Те, кто меня знали, те увь! — не ошибаются, и мне не нужно появляться им во всем блеске моего траурного великолепия, чтобы бедняжки тотчас же падали на колени и умоляли меня, крича, как дети, и рыдая, как женщины. Я — хранительница этого леса, одна я могу выпустить тебя отсюда, вернуть тебя жизни, миру, всему, что не обман и не призрак. Мне больше десяти тысяч лет, но я никогда не состарюсь, кровь моих ран вечно сохранить мне юность. Мое имя — Горе.

Принц инстинктивно преклонил колени, впиваясь взором в внезапно появившуюся женщину, босые ноги которой, казалось, не касались земли.

Тогда, положив на голову принца тонкую, странно тяжкую руку, она проговорила:

— Тебе неизвестно даже название этого леса, куда завела тебя веселая сойка, потому что ты проник сюда, увлекаемый не Любовью и даже не Юностью. Ты поддался чарам из рассеянности, и только потому я могу спасти тебя. Ты находишься в лесу Грезы. Этот большой, призрачный и безгласный лес тебя пугает, но ты будешь сожалеть о нем всю жизнь, обманчивое воспоминание о нем будет преследовать тебя до последнего твоего дня, и все же, благослови нашу встречу, потому что не прошло бы и часа, как ты зашел бы в нем навеки.

Сколько я разбудила в течение моих беспокойных странствований! Без меня их поглотил бы вечный сон! Как скольким я приходила слишком поздно и сколько, приходя, я оставляла спать из сострадания, так как отблеск грезы преображал их измученные лица и, видя их счастливыми в суетности их сновидений, я колебалась и проходила мимо, не коснувшись пальцем их закрытых век, страшась для них жестокого будущего.

И взволнованным нежным голосом Горе продолжало:

— Но усталые глаза твои уже смыкаются, бедное дитя. Ответь, сделай усилие, готов ли ты следовать за мною? Я могу еще спасти тебя, но я не в силах вернуть тебя к действительности без страшных терзаний. Готов ли ты страдать?

И так как принц, онемевший на этот раз от ужаса, опустил голову, не находя слов, Горе продолжало:

— Я не призрачное видение, явившееся для того, чтобы исторгнуть у тебя слезы, я — сама жизнь, и мое имя — Горе. Я не солгала, чтобы напугать тебя, бедное создание. Этот таинственный лес не так безлюден, как ты думаешь. Смотри.

Голубоватая фигура сделала широкий жест рукой, и лесная глубина внезапно засветилась тусклым белесоватым светом. В промежутках между деревьями виднелись, среди белых костей и черепов, неподвижные тела, который могли принадлежать одинаково и спящим и умершим, и лес Грезы в одно мгновение превратился в обитель Смерти.

Принц одним движением поднялся на ноги:

— Уведи меня, уведи меня, я готов следовать за тобою, милосердный призрак, я не могу больше переносить зловещих видений, которые встают при звуках твоего голоса.

Но Горе с бесконечной жалостью взглянуло на него полными слез глазами:

— А когда ноги твои будут в крови, руки пробиты гвоздями, а тело покрыто ранами, ты не будешь жаловаться?

Принц отрицательно качнул головой.

— Пойдем! — Тогда Горе, взяв юношу за руку, повлекло его сквозь сумрак берез и сосен, но он уже не слышал того, что оно ему говорило. Он остановился, восторженно глядя на лучезарные образы женщин, появившееся на вершинах деревьев. Цепляясь большими крыльями за ветки и листья, они колыхались под высоким темным сводом леса, и их развевающиеся одежды казались белоснежными узорами инея на зеленом фоне листвы.

— Это мечты, — таинственно шепнуло Горе, приложив палец к губам, — тише, не разбуди их.

Но мелодичный шелест крыльев уже пробежал в вышине по ветвям, и с безумным взором, устремленным на причудливые фигуры, не замечая даже, что большинство из них похожи на мертвых своими закрытыми веками и восковым и лицами, не видя, что у иных под перепончатыми крыльями летучей мыши скрывались искаженные и зеленые старческие лица, принц, внезапно охваченный неведомым чудесным экстазом, выдернул руку из сжимавшей ее руки Горя и, упав у ног его на землю, проговорил дремотным уже голосом:

— Уйди, я боюсь твоей окровавленной одежды, боюсь твоих безумных глаз, опаленных слезами, уйди, я хочу спать.

И Горе покорно, как много раз до того, одиноко продолжало свой путь по заповедному лесу.

ПРИНЦ В ЛЕСУ

Nic felicitas*.

Принц проснулся. Сколько времени длился его сон? Час, столетие? Изумленным взглядом он обвел местность, которой не узнавал. Высокий дремучий сосновый и березовый лес с мягкой, как войлок, землей, тонувший в голубоватой тени зеленый свод, устрашающий своим безмолвием, — все исчезло. Он заснул в зеленом сумраке леса Дидоны, а проснулся на склоне холма, поросшего короткой, прямой травой и мягко спускающегося к огромной долине. Лесистые холмы волнистой линией замыкали горизонт, и над природой, уже тронутой и позлащенной дыханием осени, носился сладковатый запах влажных листьев и зрелых плодов, запах нежной и грустной чувственности, подобной испарению страдающего тела, увядшего цветка и желудей, запах октября и, может быть, могилы.

Бледное голубое небо с большими, белыми, словно ватными облаками с перламутровыми изломами, давило холмы, как крышка. Три небольших озера неправильной формы курились в глубине долины. Лиловые испарения, похожие на газовые шарфы, тихонько плыли над прибрежными камышами, и под этим белым и влажным небом три сонных озера, подобно трем крупным опалам, светились тусклым блеском стоячей воды.

Безбрежное спокойствие, умиленная тишина исходили от этой картины, но смутные, внезапно донесшиеся откуда-то шумы заставили принца насторожиться и вывели его из оцепенения. Они похожи были на возрастающее, однообразное и зловещее карканье ворон, и принц, приподнявшись с сухой травы, понял, что оглушительный крик неслется из букового леса, уже обнаженного осенью: красно-

* «Здесь радость» (лат.). (Прим. ред.).

ватые стволы его стеной стояли в углу долины, и высокие вершины цвета больного золота выделялись на полускате холма. Они казались черными от ворон.

Карканье их, непрестанное, злобное и хриплое, наполняло теперь всю окрестность. Порой громкий отчаянный вопль раздирал этот однообразный стон, огромная стая черных птиц, сорвавшись с какого-нибудь пункта леса, парила некоторое время в воздухе и опускалась вдалеке. Потом их болтливая, извечная свара возобновлялась с еще большим ожесточением, и над всей долиной стоял точно трескучий говор злобных ведьм; однообразие его наполняло душу тревогой.

Сердце принца сжалось от тоскливого предчувствия; он почувствовал, что спокойствие этой картины лишь видимое. С озер поднимался туман, напоенный коварной малярией; мягкий воздух этого теплого дня, это нежное, белое небо, эта томная долина были отравлены. В аромате листьев и буковых орехов таилось предчувствие тления, напитанный миазмами плывущий туман вызывал тошноту, а возрастающий шум сражения, лес, населенный каркающими птицами, тревожил его. Каким зловещим делом заняты эти безумно кружившиеся стаи ворон?

Ему показалось, будто запах тления, носившийся над всей местностью, исходит из леса. Что же это за вопли отчаяния, раздающиеся по временам над безмолвными озерами и так быстро заглушаемые словно ударами клювов и когтей? Бесчисленные черные крылья трауром одели лес и небо и, полный тайного ужаса, принц спрашивал себя, какие предсмертные муки и сцены убийства таит среди своих золотистых стволов этот странный лес с могильным запахом.

Он склонился вперед, тщетно стараясь проникнуть взглядом в эту часть шумной долины, и в эту минуту внизу, на холме, появилась фигура стройной высокой женщины. Она поднималась по склону легким шагом, несколько длинные ноги ее, в лиловой шелковой обуви, едва прикасались пальцами к сухой траве. То была быстрая и эластичная поступь, какой греческие поэты наделяют богинь, и, действительно,

все в этой молодой и гармоничной женщине с прямой шеей, крутыми боками и стройными белыми руками напоминало бессмертную.

Платье из мягкой ткани нежного пепельного цвета, свободное на боках, облегалo ее стан и когда она подошла ближе, принц залюбовался серебряными цветами, вышитыми на платье, высоким воротником из жемчугов и кирасой из драгоценных камней, стягивавшей ее грудь.

Это была причудливой работы сетка, вся состоящая из пластинок зеленого золота с вставленными в них опалами и розовыми топазами, нежного цвета лепестков увядшей розы; местами среди этих камней мерцали крупные жемчужины, и странное одеяние облекало ее стан точно лунным светом, холодным и прозрачным мерцанием. Такие же молочно-белые камни обвивали ожерельями ее шею и опутывали своими переливами ее плечи и руки. Если бы светлые белокурые волосы ее не были украшены жемчужными анемонами и не рассыпались волной по ее плечам, ее можно было бы принять за воинственную принцессу; но выражение живой беспечности противоречило ее одежде, несмотря на надменный чистый профиль и смелый изгиб красивых губ: легкая улыбка смягчала их презрительную складку.

Несмотря на яркий румянец щек и уст, лицо ее казалось смутным, призрачным, словно выступившим из тумана, и глаза ее, неопределенного цвета, без глубины и без огня, мерцали тускло, как больной алмаз.

Она была изящна, величава, но лишена очарования.

Быстро пройдя мимо принца и почти задев его своим платьем, она, чуть улыбнувшись, сказала: «Идем! Что ты здесь делаешь? Иди за мной!» Принц приподнялся на колени и изумленно взглянул на нее, а она прибавила, слегка дотронувшись до его плеча: «Скорее, я не могу терять времени, поверь мне, последуй моему совету, пока тебя не захватили ночные испарения этой пагубной долины. Как только закатится солнце, от этих лесов и озер исходит мертвящий холод. Но я не могу больше медлить. Меня ждут там, наверху, в замке Счастья». — В замке Счастья! — вос-

кликнул юноша. «И я могу провести тебя туда, одна я знаю дорогу к нему. Я — верная целительница прошлых страданий, настоящих скорбей и будущих тревог. Я залечиваю раны воспоминания. Поцелуй мой исцеляет, а мое прикосновение закаляет и укрепляет жалкие тела и души против всех ударов судьбы. Я действую наперекор будущему и смеюсь над ним. Но встань же и пойдем со мною, если в тебе еще сохранилось желание спастись и если ты не принадлежишь к тем трусам, измученным иллюзиями и мечтами, которые приходят сюда с жаждой небытия и смерти». Под влиянием ее властных слов принц поднялся и пошел рядом с неведомой спутницей, так уверенной в Счастье.

— Мир десять тысяч лет существовала благодаря моему могучему дыханию. Греция обожала меня, ее города и гавани воздавали мне почести, мне строили храмы во всей Малой Азии, и даже в Риме мне воздвигали алтари. Я видела у своих ног консулов, трибунов, знаменитых кутил, увенчанных лаврами полководцев; мне поклонялись поэты в венках из фиалок и даже философы; мудрецы провозгласили меня своей дочерью и, хотя на некоторое время Христос подверг меня гонению, могущество мое вечно. Потом и я, в свою очередь, изгнала его из святилища сердец. Я — здоровье жизни; меня зовут Равнодушие.

Принц смотрел на нее жадными глазами.

— И ты говоришь, что знаешь дорогу к Счастью? Тебе известно, где оно живет, скрываясь от наших взоров?

— Да, — ответила незнакомка в опаловой кирасе, — я знаю дорогу во дворец отдыха и спокойствия. Но вот, за этими высокими кипарисами, на склоне, уже виднеются его террасы.

Принц вздрогнул:

— Как! Этот перистиль с мраморными колоннами и эти бронзовые бюсты в облицованных металлом нишах, эта итальянская вилла на вершине холма, белеющая в саду высоких елей и кипарисов, — это и есть убежище, к которому стремятся все смертные, это и есть замок Счастья?

— Или Забвения. Смотри!

Они стояли под белым перистилем, перед неподвижным рядом бюстов, и в этих высоких зеленоватых фигурах принц узнавал черты известных философов; имена Зенона, Платона, Эпиктета, Пифагора сами собой просились с его губ; но слепые глаза из матового серебра, похожие на глаза призрака, спали под бронзовыми веками, и принцу стало страшно.

Вокруг него простирался симметрично разбитый сад с узкими аллеями, обсаженными буксовыми кустарниками. За ними виднелась жесткая, точно лакированная листва испанских апельсинов, турбийские лавры, а дальше — темные конусы елей и кипарисов; посреди квадратного, мощенного белым и черным мрамором двора бил фонтан, и высоко взлетающая струя его пеленой падала в яшмовый бассейн, украшенный на углах масками из зеленой бронзы.

И в этом роскошном саду спал молодой человек с одутловатым, бледным лицом; он лежал неподвижно, опершись локтем на край бассейна, свернувшись на полукруглой скамье, над которой стояла невысокая колонка с надписью: «*Nic felicitas*». Вода, выливаясь из старого бассейна, растекалась по черным и белым пашкам плит, и леденящая сырость, затхлая, как в погребке, прохлада делали атмосферу этого мраморного двора и темного сада похожей на воздух в подземелье. Сон юноши был так глубок, что он не чувствовал воды, текущей по его ногам и пропитавшей подошвы его белых войлочных башмаков; он был одет во все белое, как невеста, и тонкие, бескровные руки его держали раскрытую на коленях большую книгу с эмалевыми застешками. Сухие, прозрачные, как перламутр, цветы мака выпали из страниц. Золотистые волосы, необычайно мягкие и тонкие, струились, как вода, по его полным плечам. И на низком лбу, почти на уровне бледных век, невидимая рука положила венок из огромных водяных лилий.

И Равнодушие сказало:

— *Nic felicitas*. Хочешь быть похожим на него? Ты будешь спать, как он. Люди счастливы в мире, когда позабудут мир. Здесь царит презрение к лобзаниям и слезам, к

горестям и радостям. Эта журчащая, вечно возобновляющаяся вода топит даже воспоминание. Мы храним здесь тайну счастья. Жизнь обманывает нас, будем и мы обманывать жизнь. Это — верное убежище, где можно прилечь, отдохнуть и заснуть.

Но принц чувствовал, как оцепенение охватывает все его существо, ужас леденил его. Этот спящий юноша, словно заживо погребенный в зеленоватом свете и могильной прохладе пышного сада, мертвая неподвижность его как будто распухшего тела, разлагающегося в текучей воде, — все это ужасало его. Юноша в венке из неньюфаров был похож на утопленника, и принц невольно подумал об осенней долине и о тайне трех озер.

Он не произнес ни слова, но спутница его поняла все.

Слегка пожав плечами, она проговорила:

— Ну что ж. Вернись к воронам, к лесному кладбищу, где хищные птицы терзают клювами тщетные Иллюзии. Иллюзии — твои сестры и твои возлюбленные. Вернись на берега озер с ядовитыми испарениями, в которых зарождаются мечты, но не жалуйся, если вороны вырвут у тебя глаза из окровавленных орбит. Ты сам хотел этого. Иди же, страдай, обливайся кровью, возвращайся к Горю, к Лжи, к Жизни, плачь до тех пор, пока в слезах не изольются последние капли крови твоего сердца! Но когда тело твое будет изранено когтями зверей, ноги твои покроются язвами и ты будешь бродить, слепой и безутешный, по лесу убийств, под стаей каркающих ворон, у ног твоих казненных сестер, твоих дорогих Иллюзий, распятых мстительной Судьбой на стволах буковой рощи, — не надейся найти забвение и прийти сюда, чтобы обрести покой. Ступай! Теперь уж поздно!

В задумчивости принц спустился к долине, направляясь к трем прудам.

СКАЗКА КОСЦОВ

У дорожки, поросшей крапивой, возвышалась белая стена. Белая, голая стена, без признака плюща или какого-нибудь другого веющего растения, тянулась среди поля на много миль. В теплом воздухе дрожали мошки, и под знойным августовским солнцем шептались насекомые и травы.

Уже несколько часов Раймонден шел вдоль этой старой стены из песчаника и известки. Она выросла перед ним, как только он вышел из города, стоявшего на вершине холма, поросшего заячьим горохом и люцерной. На плоскогорье, над которым вились голубоватые бабочки, похожие на летучие колокольчики, он остановился и взглянул на город, расположенный у его ног, на его крыши, стены, колокольни, на зеркальную ленту реки под черными сводами старых мостов и прислонился к древней стене, чтобы пережить вновь свою жизнь в покинутой долине.

Он провел там двадцать лет, двадцать лет, которые он проспал, точно опьяненный светлой радостью золотого лета. И вновь он видел перед собою любимый город с его улицами, перекрестками, бледными, мечтательными ночами, тихими, однообразными днями, с его собором и точно выстланными серой паутиной портиками, и крестным путем, поднимающимся в гору среди цветущих изгородей. Раймонден умилился, вспоминая, на каком лугу, на какой опушке цветет до или после сенокоса тот или иной излюбленный цветок, и заплакал, как плакал уже много раз раньше, прислонившись к высокой белой стене, потом, не видя серой ящерицы, спящей на камне возле его руки, рукавом вытер слезы и гордо произнес: «Этот час — мой, и я унесу его с собою!»

Он пошел вдоль высокой степы, под палящим августовским солнцем, и вдруг на дорожке, густо заросшей травой, скрадывающей звук шагов, увидел высокого старика, выросшего в этом пустынном месте, как знойный мираж.

Он стоял, выпрямившись, с непокрытой головой и казался похожим на кого-то знакомого; в улыбке его была как бы грусть расставанья. Не говоря ни слова, так как он был нем и глух, он широким жестом указал Раймондену на горизонт, обведя линию его кованым железным ключом, который держал в руке.

И в первый раз Раймонден внутренне содрогнулся. С испугом подумал он, что эта белая стена — ограда кладбища, но над ней не виднелось ни кипарисов, ни раkit. Он тотчас успокоился и хотел пройти мимо, но высокий старик остановил его, и Раймонден увидел, что они оба находятся у подножия маленькой башенки.

Это была маленькая башня, вделанная в стену и выдававшаяся над нею только своей черепичной крышей, круглая башенка с облупившейся штукатуркой, из-под которой виднелся красный кирпич. Старец отпер ключом дверь. В сумраке светились кирка и лопата, брошенные накрест друг на друга, и гири старых часов, спустившиеся совсем донизу, почти касались пола. Но маятник продолжал раскачиваться в тени, и старец тихо завел часы, подняв гири.

Семьдесят. Семь раз он с ласковой улыбкой раскрыл пальцы своих бедных старых рук. Семьдесят лет! Ему было семьдесят лет, и каждый день этой долгой жизни он приходил с своим большим ключом подтянуть цепи часов, чтобы они прожили еще день.

Взволнованный Раймонден сделал движение к старику, чтобы пожать ему руку, но старик уже исчез. Он сам находился уже не на поросшей крапивой дорожке, а перед огромным ржаным полем, по ту сторону стены.

Высокие темно-желтые колосья на бесконечное пространство простирали свои неподвижные головы к лиловешему от зноя небу; они точно пылали под ярким светом и тянулись вширь и вдаль, как море расплавленного металла. А над колосьями летала коса, блестящая и переливчатая, как крыло ворона, и это крыло взлетало и опускалось в руках невидимого косца. Колосья ложились снопами под взмахами косы, и Раймондену стало жутко.

Коса работала долго, беззвучно, и вдруг Раймонден увидел того, кто управлял ею.

Это был зловещий скелет, закутанный, как в саван, во что-то светлое, быстрый и суетливый, с блестящим черепом в венке из иммортелей; васильки и колокольчики весело смеялись между его бедренными костями.

Золото хлебов, еще стоявших позади него, пронизывало его позвонки своим светом, и Раймонден узнал косца.

Это была Смерть, исправная работница, Смерть, что косит без слов и чья жатва всегда прекрасна, так как она косит сильными взмахами.

Ужас сжал горло юноши при виде того, как автоматически движется косец среди золотых хлебов; он быстро работал в солнечном безмолвном поле, как вдруг рядом со скелетом появилась прекрасная нагая девушка.

Нагая, как красота, как утро, как неведение, с золотым серпом в руке, Любовь (это была она) срывала цветы, и песня звенела на ее устах, как пение жаворонка; румяные уста ее, с перламутровыми зубами, влажные, как румяная сердцевина зрелого плода, прижимались по временам к венчику какого-нибудь цветка.

Любовь срывала и целовала васильки, синие, как очи молодых девушек; она собирала и целовала маки, красные, как раны, и под золотым серпом ее стебли срезанных цветов источали более алый и теплый сок, чем скошенные рукою Смерти колосья.

Охваченный бессознательным ужасом, Раймонден вспомнил старинную песенку:

Смерть косит, — собирает Любовь урожай.
Смерть в саване — снега белее,
Любовь, как богиня, зовущая в рай,
Идет все смелей и смелее;
Она устремляется гордо вперед,
Колосья собирает и громко поет.
Смерть косит пред ней, не жалея.

Но вдруг картина изменилась, хлеба исчезли, и под серым осенним небом потянулись бесконечные борозды длинного вспаханного поля. И среди комьев жирной земли с торчащими пучками бледной соломы снова появилась та же работница, но на этот раз за сохой.

Из косца скелет превратился в пахаря. Бледные сумерки окутывали его печальным светом, перелетные птицы неслись в облаках, а следом за пахарем все еще шла прекрасная нагая дева; она шла в венке из васильков и колосьев, гордясь последней жатвой, с тою же песнью на устах, и при унылом свете заката сеяла, разбрасывая семена во темным бороздам, и божественный жест ее, полный надежды, преисполнял бодростью и новой верой тоскливый безбрежный горизонт.

Любовь пела, и Раймонден понял, что не следует плакать, потому что любить — это значить умирать и возрождаться; не нужно бояться узнать свою жизнь, но нужно взглянуть ей прямо в лицо и создавать ее согласно образу, под каким она предстанет в данный момент, ибо каждая прожитая минута — достояние косы Смерти — и каждое испытанное наслаждение — достояние серпа Любви, смертоносные же орудия их не более, как их крылья.

Любовь косит своим крылом,
Крылом своим косит и Смерть.

Раймонден вновь очутился перед маленькой башней, у подножия высокой белой стены. Часы еще шуршали в ней, но уже почти совсем стемнело, и, раздвинув странно разросшуюся во время его сна крапиву, Раймонден продолжал путь от города к долине.

СКАЗКИ И НЕЯ И СНА

Посвящается Жорису Карлу Гюисмансу

ПРИНЦЕССА ПОД СТЕКЛОМ
НЕЙГИЛЬДА
ПРИНЦЕССА БЕЛОСНЕЖКА

ПРИНЦЕССА ПОД СТЕКЛОМ



I

Это была прелестная, нежная, маленькая принцесса с тонкими, хорошенькими, как у восковой фигурки, ручками и ножками; прозрачная кожа ее была так нежна, словно ее оживляло трепетное и гаснущее при малейшем ветерке пламя свечи, и из-под густых торсад ее каштановых волос лицо ее сияло такой поражающей и холодной белизной, что к имени ее простой народ прибавил прозвище, и ее называли не иначе, как «Бледная Бертрада». Отец же ее, старый воинственный король, вечно сражавшийся с язычниками на северных границах своего королевства, называл ее своей маленькой рождественской розочкой. И действительно, болезненной хрупкостью и нежной прелестью Бертрада напоминала эти бледные зимние цветы.

Печально было ее детство, проведенное в замке среди лесов и болот, где она росла под присмотром воспитательниц с монашескими лицами, вдали от шума придворной жизни.

Мать ее, принцесса Окситании, никогда не могла забыть золотых берегов своей родины и умерла через несколько месяцев после ее рождения, и эта ранняя утрата наложила отпечаток грусти на царственного ребенка, оставленного на попечении наемных рук.

Она родилась такой бледной и слабенькой, что долгое время опасались, что она не переживет своей матери. Почти бесприданница и взятая только за необычайную красоту молочно-белого тела и миндалевидных мечтательных глаз зеленоватого цвета бирюзы, эта принцесса, едва прибыв в Курляндию, впала в странную болезнь; рассказывали, что ее томит неизлечимая тоска по родному небу, на котором то и дело появлялись мачты, рей и паруса бесчисленных судов, проходивших у самого подножия императорского дворца, находившегося в вечно разукрашенном знаменами и флагами городе ее отца. Жизнь на берегу моря не проходит даром; этому прекрасному морскому цветку, пересаженному в унылую и плоскую Курляндию, покрытую торфяными болотами и лесами, недоставало шума океана, криков отплывающих матросов, тысячи разнообразных звуков оживленной гавани, и мать Бертрады быстро увяла от тоски по родине, снедаемая скорбью.

Отвращение молодой королевы к замкнутому соснами горизонту и озерам ее новых владений усилилось настолько, что в последние месяцы своей жизни она приказала замуровать до половины крестообразные окна своей спальни, обитой парчой и старинными вышивками, и покинула ее только тогда, когда ее вынесли со сложенными на распятии руками и со скованными стенками гроба ногами. Томительные часы последнего времени беременности и кровавые часы родов и выздоровления она провела в полумраке этой комнаты, устремив глаза на большое зеркало, повешенное на самом потолке, против наполови-

ну замурованных окон, и отражавшее лишь кочевые облака и вечно изменчивое небо.

Умышленно обманываемая греза переносила ее в Окситанию, под раскинутые над приморскими странами небеса, покрытые плывущими облаками с перламутровыми изломами.



Это добровольное изгнание и тоска сократили ее дни; так думал, по крайней мере, народ. Но среди вельмож ходили слухи о смертоносном напитке и о ненависти принцессы крови, некогда пользовавшейся милостями короля и мечтавшей сесть на трон; молодая королева будто бы заплатила жизнью за злобу соперницы. Данный ей яд должен был убить и ребенка, которого она носила под сердцем; но оттого ли, что дозы были плохо рассчитаны, или небо сжалилось над этими двумя существами, предназначенными для одной и той же могилы, но умерла только королева, Бертрада же осталась жива.

Курляндский двор был довольно мрачен и полон странных рассказов: в то время как хрупкая и нежная Бертрада

росла под надзором воспитательниц в тиши Лесного замка, король воспитывал при дворе своего племянника, сына старшего брата, умершего довольно загадочной смертью во время охоты, — того самого брата, трон которого он занимал.

Черный принц (так называл народ принца Отто) был мрачный молодой человек на пять лет старше Бертрады, и странное беспорядочное поведение его оправдывало ходившие о нем недобрые слухи.

Столь же бледный, как и его царственная кузина, но сильный и гибкий, несмотря на свою худощавость, он появлялся в городских дворцах и в лачугах старой гавани, всегда закутанный в черный дрогет. От разнузданных кутежей, почти не поддающихся описанию, он переходил к самой пламенной набожности; рассказывали, что он совершал поступки почти божественного милосердия наряду с поступками самой дикой жестокости и что он был одновременно самым отчаянным распутником и вместе самым кротким из молодых монахов, разбирающих старинные рукописи, ибо в необъяснимой причудливости своего нрава он иногда удалялся на целый месяц в какой-нибудь монастырь и вел там жизнь отшельника.

Его пристальный и жесткий взгляд, холодный, как оникс, выдавал его строптивую душу. Ему никто не давал отравы, но народная молва утверждала, будто он — жертва своеобразной цыганской мести. Один цыган, у которого он, из мимолетного каприза, отнял на одну ночь возлюбленную, приказав затем выгнать ее с побоями (таковы забавы принцев), через несколько времени после этого устроил ему странную серенаду. Пробравшись неведомо каким образом, в покои принца (в рассказах о цыганах всегда замешана чертовщина), жалкий кочевник, вместо того, чтобы вонзить кинжал в сердце своего врага, всю ночь пел ему свои родные песни, играя на заколдованной скрипке или на гитаре со струнами, сделанными из волос повешенного. Душа казненного, какого-нибудь разбойника из его племени, ставшего жертвой правосудия, всю ночь терзала принца, и после этого кошмара разум его помрачился.

Старый король, убитый столькими несчастьями, пожимал плечами, пренебрегая слухами, но должен был отказаться от мысли о союзе между принцем и его двоюродной сестрой. Он долго лелеял мечту соединить с красавцем Отто свою милую рождественскую розочку, но было бы слишком жестоко отдать нежную прелестную Бертраду во власть этому капризному и своевольному безумцу.

Принцессе было тогда шестнадцать лет. От матери своей она унаследовала не только несколько страдальческий овал лица, но и покатые плечи с голубыми жилками, просвечивающими под тонкий кожей, и проникновенный взор мечтательных глаз, зеленоватого цвета речной воды у покойницы, лилового, как аметист, у Бертрады. От королевы же она унаследовала беспокойную грусть, которая заставляла ее предпочитать полумрак комнат и молчаливые беседы с зеркалом разговорам у окна и прогулкам на открытом воздухе. Любимым ее удовольствием было запереться в какой-нибудь высокой зале, обитой вышивками, и подолгу смотреть на изображенные на них шелковые и шерстяные лица, незаметно оживавшие под ее взглядами. На солнце она смотрела сквозь камни перстней, которые унижали ее тонкие пальчики, и в лунные ночи ее часто заставляли за тем, как она пересыпала камни своих драгоценных ожерелий, любуясь их переливами в сиянии бледного светила.

Во всей природе она любила только отражения. Ее привлекала вода, а из цветов ей нравились только ирисы и неюфары. В сумерки она любила останавливаться у холодных берегов источников и в большом тумане прудов, но всего больше на свете любила бесконечно и молчаливо созерцать застывшее олово зеркал; казалось, что душа матери притягивает ее к ним, поднимаясь из мрака на их таинственную поверхность.

И вот, в это время, когда ничто не указывало на возможность такого раннего конца, принцесса Бертрада тихо утасла или, скорее, заснула на руках своих прислужниц. Ей шел шестой месяц шестнадцатого года, и еще накануне она провела день в монастыре святой Клары, где монахини

устроили ей торжественный прием. На обратном пути она остановила свои носилки посреди зрелых хлебов, залитых жгучим золотом заката, и некоторое время слушала песню жнеца. На следующий день она умерла.

К королю был послан гонец, а тем временем плачущие воспитательницы омыли и умастили благовониями белое девственное тело, одели его в серебряный муар и парчу; потом заплели блестящий шелк ее волос и положили на голову принцессы венки из жемчужных роз и сердцевин тростника, какие возлагают на статуи Мадонны. На золотой филигранной лилии они скрестили ее маленькие, сверкающие перстнями ручки, обули ножки ее в туфельки из беличьего меха и, преклонив колена у подножия двойного ряда высоких свечей, стали ждать в глубокой горести.

Но когда согбенный под тяжестью скорби и годов король явился в опочивальню в сопровождении епископа Афрания, облаченного в фиолетовую мантию и золотую митру, и целой свиты архидьяконов в траурных ризах и врачей, оказалось, что та, которую считали мертвой, только уснула, но странным и зловещим сном! Ничто не могло вернуть ее к жизни — ни молитвы священников, ни попытки чародеев и врачей. В течение трех дней она была выставлена на эстраде, задрапированной белым бархатом и возвышавшейся посреди собора. В течение трех дней епископом и всем духовенством непрерывно совершались богослужения; три дня народ, собиравшийся в пределах базилики, пел пасхальные стихиры, и гремел орган, но принцесса не просыпалась.

Лепестки роз, как сугробы снега, нагромождались у подножия высокой эстрады, жемчужные ожерелья сияли перламутровыми отливами на ее белой шейке, вокруг нее горели тысячи свечей, клубились голубоватые спирали ладана, но, далекая, словно недоступная и кажущаяся призрачным видением, принцесса лежала неподвижно: она спала среди парчи, горящих свечей, цветов и песнопений.

Она не жила и не умерла.

Тогда епископа Афрания осенило небесное вдохновение. Быть может, солнце, свежий воздух, ветер и дождь сде-



лают то, чего не могли достигнуть Церковь и ее божественный песнопения? Он приказал сделать для этого нежного, впавшего в летаргию тела длинный узкий стеклянный гроб, украшенный на восьми углах серебряными филигранными лилиями. В него положили на одеяле из стеганого шелка спящую принцессу, и старый прелат решил, что во все дни, что пошлет Господь, принцессу Бертраду будут носить на носилках по городам и деревням, останавливаясь во всех часовнях и монастырях королевства. Длинный corteж кающихся и молящихся всегда будет сопровождать царственное тело, и, может быть, Бог сжадется над их скорбью. Ночью странствующая рака будет отдыхать на церковном клиросе или в монастырской усыпальнице.

II

И по всей опечаленной стране потянулись бесконечные процессии. На дорогах можно было встретить только дьяконов в стихарях и монахов в рясах, певших горестные молитвы. Всюду, на окраинах полей и у городских застав, видны были лишь горящие глаза и восторженный лица, сложенные руки и босые ноги: женщины простого звания, ремесленники, крестьяне и рабочие в молитвенном рвении сбегались к corteжу спящей принцессы.

На желтеющих спелыми хлебами равнинах и посреди цветущих в апреле изгородей вдруг появлялись длинные, закутанные в капюшоны фигуры, широкие хоругви из мягкого шелка вздувались над нивами, как высокие паруса, запах мирры и ладана смешивался с ароматами земли. И среди горящих свечей и кропильниц медленно следовала рака с царственным телом.

Вся бледная, в белой парче и муаре, с закрытыми под венком из жемчужных роз веками, она была похожа на неподвижную фигуру Скорбящей Божьей Матери, сделанную из шелка и филиграна; прозрачные стенки ее восьмиугольного гроба сверкали на августовском солнце, как за-

мерзшая вода. В ноябре случалось, что свечи внезапно гасли под дождем, высокие серебряные кресты качались в онемевших руках носильщиков, ветер рвал хоругви, и перед белым, звеневшим под градом гробом знатные дамы и простонародье вперемешку бросались на колени в дорожную грязь, и во все времена года над замороженными полями плыл непрерывный похоронный звон колоколов.

Круглый год длились эти медленные и пышные паломничества; процессия заходила во все церкви, во все монастыри в стране. Царственная рака возвращалась в столицу королевства лишь дважды в год, за неделю до Рождества и за неделю до Пасхи. В эти большие церковные праздники, по царившему в народе убеждению, епископ Афраний причащал заколдованную принцессу. Говорили, будто священным веществом причастия он поддерживает жизнь в этом бескровном теле царственной девственницы, не могущей ни жить, ни умереть. Но это была просто народная молва. «Принцесса под стеклом», как звали теперь Бертраду, выставлялась в соборе для поклонения верующих от Вербного воскресенья до вторника пасхальной недели и всю неделю перед Рождеством, но никто не видел, чтобы епископ приближался к августейшей раке. Один раз в году, в Вербное воскресенье, шесть самых юных урсулинок, избранных из всех монастырей в стране, допускались к королевскому гробу и меняли на челе усопшей венки из жемчуга и тростниковых сердцевин.

По окончании праздников кортеж принцессы снова отправлялся в путь под дождем и солнцем, и уже шел пятый год этих бесплодных паломничеств. Вопреки ожиданиям епископа, «Принцесса под стеклом» не поднимала неподвижных шелковистых век, и прекрасные руки ее по-прежнему были холодны, как мрамор. Старый король, впавший в какое-то оцепенелое слабоумие, равнодушный ко всему от горя, покинул боевой лагерь и заперся в Лесном замке, выстроенном посреди болот, в том замке, где двадцать лет назад угасла принцесса Окситании, мать Бертрады, и где, шестнадцать лет и шесть месяцев спустя, его рождественская роза, Бертрада, заснула таким странным сном. Ста-

рый монарх жил там во мраке высоких покоев с замурованными окнами, наедине с прошлым, всплывающим иногда из мертвой воды зеркал, и выходил из своего убежища лишь два раза в год, чтобы взглянуть на «Принцессу под стеклом», выставленную посреди собора.

Потом он снова возвращался в замок и забывал обо всем; страной правили министры.

Принц Отто тоже почти совсем исчез. После странного события — пожара одного из его летних замков, во время которого ужасной смертью погибли красивейшие куртизанки королевства, характер его сделался нелюдимым. Отчасти от угрызений совести, отчасти из боязни народной ненависти, обвинявшей его в том, что он сам поджег свой замок, он удалился на запад в леса, прилегающие к Северной Швабии и границам Богемии. Пожар, устроенный им во время праздника в честь наследного принца Литвы, во время которого погибли известнейшие красавицы того времени, окончательно помутил его разум. Укрывшись в глубине непроходимых лесов с горстью бездельников, он вел жизнь атамана разбойничьей шайки, похожую на жизнь баронов той эпохи, останавливая проезжих, убивая птиц налету, грабя евреев и купцов, нападая на зверя в логовище и на простолюдина в лачуге; и вся беднота трепетала перед Черным принцем, которого стали называть Красным принцем.

Последняя выходка Отто переполнила чашу.

Во время одного из своих вооруженных наездов, а может быть, и охоты, так как при нем были и собаки, принц встретился на лесной опушке с медленной процессией свечей и крестов, сопровождавшей принцессу. Пробудил ли в нем вид горящих свечей воспоминание о его преступлении, или же чары цыгана усилились под влиянием священных песнопений, но его охватил внезапный порыв ярости и, с пеной на губах, изрыгая проклятия, он бросился со своей сворой и людьми на благочестивую процессию, опрокидывая монахов и послушников, топча конями женщин и священосцев, распятия и хоругви. Произошла страшная паника, беспорядочное бегство; испуганные носильщики бро-

сили стеклянную раку, которая разбилась, и нежное тело Бертрады, наполовину выпавшее из гроба, скользнуло в жирную грязь дороги. Оно пролежало здесь всю ночь под ноябрьским дождем. На следующий день, на заре, его нашли посреди серебряных подсвечников и брошенных на дороге хоругвей, по-прежнему неподвижным и бледным под запачканной парчой, в тускло мерцавшем жемчужном венке. Объятый ужасом принц Отто бежал, устранившись от собственного кошмара; хрупкое нежное тело «Принцессы под стеклом» двенадцать часов пролежало на дороге, забытое всеми. Когда слуги короля поспешно явились, чтобы поднять раку и перенести принцессу во дворец, они отступили в трепете: две струйки крови запятнали ее муаровое платье, тонкие руки, еще накануне скрещенные над филигранной лилией, теперь оканчивались бесформенными обрубками с запекшейся по краям кровью. Свирепые псы принца Отто, достойные своего хозяина, в погоне за священниками, женщинами и детьми, унесли добычу, которой не погнушался бы и сам Черный охотник, — они отгрызли руки принцессы.

И кровь струилась, теплая и алая, несмотря на закрытые глаза и бледное лицо; принцесса была жива.

При этом известии негодование охватило все королевство, старый король вышел, наконец, из оцепенения и обещал крупную награду за голову принца, а епископ Афраний добился от папы послания, которым запрещалось подавать хлеб, воду и соль богохульному Отто и его товарищам. На перекрестках воздвигли виселицы; сообщники Черного принца были изловлены, и тела их долго качались на этих виселицах, один только Черный принц спасся, успев бежать в чужие пределы и скрывшись неведомо где. Он исчез навсегда.

«Принцесса под стеклом» возвратилась в собор и была поставлена над царскими вратами у подножия Христа, протирающего пронзенные гвоздями длани; рака из горного хрусталя, украшенная по углам опаловыми анемонами, была вделана в стену и, озаренная лучами солнца, прони-

кавшими сквозь стекла двух больших розеток, сверкала всеми цветами радуги.

Под нею горели огоньки свечей и, как огромная птица, качалось большое паникадило; с далекой, головокружительной высоты своей она казалась ослепленным глазам верующих светлой точкой, живой покойницей, оторванной от жизни и уже стоящей на пороге вечности, так близка она была к небу и так далека от земли. Бедные обезображенные руки ее покрыли золотой парчой и, укрытая до подбородка пышным саваном, она, действительно, больше походила на мертвую, чем на спящую. И люди проникались страхом, когда во время богослужений взгляды их внезапно упали на маленькую восковую головку, покоившуюся на подушках и выступавшую из-под груды роскошных тканей.

Пронзенные ступни Христа, казалось, роняли на нее кровавые слезы своих ран. Старый король давно уже умер.

III

Прошли года, умерли и другие короли. Новая династия царила в Курляндии; то были дальние родственники короля, никогда не знавшие принцессу Бертраду и свирепого Отто, чужие люди, для которых царственная мученица, заключенная в воздушной раке, была совершенно чуждой, сказочной героиней.. Старые люди вспоминали, что в детстве присутствовали при странных религиозных церемониях, но, к несчастью, к воспоминаниям этим примешивались рассказы о злодействах принца Отто, и рассказы эти смущали народ. Царствующая фамилия, находившаяся в апогее славы и дерзкой гордости по случаю объединения и умиротворения Курляндии, пришла к убеждению, что эта покойница, парящая среди церковных хоругвей, слишком долго омрачала своим призраком торжество побед. Эта «Принцесса под стеклом» омрачала сам собор; погребальная рака все богослужения превращала в панихи-

ды, и при виде мертвенного лица, белеющего под полутемными сводами, в каждом славословии слышалась похоронная песнь. При жизни старого короля, эта вечно кочующая по дорогам «Принцесса под стеклом» достаточно долго устранила города и деревни мрачной пышностью своих скорбных процессий. После шестидесяти лет полного спокойствия, загнипнотизированная ею Курляндия еще не оправилась от этого кошмара; зачем же поддерживать до бесконечности в умах народа ужасное воспоминание о безумных и больных правителях, о заколдованных королевах и преступных принцах? Память о столь трагическом царствовании может лишь повредить процветанию и благополучию других правителей, и для всех будет большим облегчением, когда исчезнет этот заколдованный гроб.

То, чего хочет император, благословляет папа; то, чего хочет король, освящает духовенство.

Однажды ночью рака, в которой покоилась Бертрада, была спущена со свода. Бедная Бертрада! Не было епископа Афрания, и некому было защитить ее.

Он тоже давно уже спал под плитами клироса в обществе других прелатов, погребенных с посохами в руках в высоких саркофагах соборной усыпальницы. На том месте, где над головами верующих, сверкая, парила «Принцесса под стеклом», между знаменами и военными трофеями, были водружены герои царствующей фамилии, и народ приветствовал этот геральдический щит, затмивший своим золотом святое дарохранилище и молитвенное мерцание свечей.

Рака Бертрады была поставлена в боковую часовню. Она старилась там в тени, служа предметом поклонения нескольких старух, помнивших прежнее царствование, но и их приходило все меньше и меньше. Святая, не творящая чудес, не исцелявшая ни прокаженных, ни паралитиков, вскоре была предана забвению; церковные служители, которым было поручено наблюдать за лампадой, озарявшей ее призрачное великолепие, стали пренебрегать своими обязанностями; хрустальные стенки покрылись пылью, опалы на углах потускнели, пауки заткали их своей сетью,

и забвение и безмолвие словно одело «Принцессу под стеклом» вторым саваном.

Шелк и муар ее одежд пожелтели, жемчужные цветы осыпались, и в сырой, заброшенной часовне эта живая покойница, похожая на восковую куклу, внушала невольный страх. Высокое стрельчатое окно с матовыми стеклами во все времена года проливало тусклый зимний свет на покровы алтаря, и стоящий на нем хрустальный гроб уныло светился, как ледяная глыба, сковавшая труп. Никогда здесь не зажигали свечей, никогда не служили обедни, и богомольные старушки, замешкавшиеся в каком-нибудь соседнем приделе, боялись впотьмах проходить мимо этой часовни, страшась и самой покойницы, и раны, может быть, еще кровоточащей под саваном.

А так как угодливые священники, стремясь выслужиться перед монархом, рассказывали о вампирах, которых находили румяными и полными в могиле, с закрытыми, как у принцессы, глазами и спящими подобно ей, высшее духовенство заволновалось и решило изъять королевскую дочь от подозрений народа. Надо было также как можно скорее приступить к богослужениям в опороченной часовне. Но все же сомнение останавливало духовенство; было бы кощунством похоронить это погруженное в летаргию тело, быть может, еще не переставшее жить. Тогда было решено поставить царственную раку на барку и пустить ее по течению реки, на милость Божию.

В безлунную ночь рака была перенесена на берег через лозняк, тянувшийся позади собора. Принцессу поспешно поставили на плоскую барку в присутствии епископа и трех дьяконов. Листья терновника и еловые ветки составляли вокруг нее зеленый ковер, потому что приближалось Рождество, а терновник и ель отгоняют лукавого. Потом епископ прочел последнюю разрешительную молитву, барку оттолкнули на середину реки, и мертвая изгнанница тихо поплыла вниз по течению.

Они долго следили за нею глазами и, решив, что она отплыла уже за черту города, поспешно вернулись в церковь и отслужили обедню, успокоившую их совесть.

Вдали, по направлению к Лесному замку, обвеваемая холодным ночным ветром, «Принцесса под стеклом» тихонько покачивалась на медленных струях извивавшейся среди болот реки.

Так она плыла много миль между пустынными зимними берегами: сухие камыши грустно звенели под сердитым ветром, громадные сизые тучи растерянно неслись по небу, и в звездные ночи большие черные тени тяжело вздымались над прудами; они кружились некоторое время с жалобными криками вокруг барки, потом уносились вдаль, как бы в отчаянии, и не было ничего печальнее этих призывов диких птиц над бледными водами. А «Принцесса под стеклом» продолжала лениво скользить по реке, между скованными морозом берегами, и никто не выбегал, чтобы приветствовать ее на пути, а когда-то молитвенные процессии ее поднимали всю страну. Густые вечерние туманы и заревой иней окутывали бедную принцессу, и хрустальная рака, омытая дождем и снегом, сверкала, как в былые дни.

Старинный Лесной замок, где она провела свое детство, видел, как она целый день колыбалась среди окружающих его болот, но дряхлый сторож, который один мог бы узнать ее, ослеп, толстых оконных ставней не открывали, и «Принцесса под стеклом» проследовала без единого приветия мимо башен отчего дома.

Берега становились все унылее, все ниже и все более леденели по мере приближения к северу; на необозримые пространства тянулась застывшая грязь, в которой волновались бесчисленные стебли камышей, к небу не поднималось ни струйки дыма. В сочельник принцесса приплыла в совершенно пустынную местность, покрытую торфяными болотами и озерами, и здесь, среди бурого ивняка и пожелтелых камышей, вода в реке стала замерзать, и барка остановилась, задержанная льдом.

Бесконечная печаль царила над этой местностью, и даже сам воздух казался замерзшим и немым. Был рождественский сочельник, но над равниной не слышалось колокольного звона, а между тем, крыша и колокольня, виднев-

шиеся в нескольких шагах из-за завесы сухих и побуревших камышей, указывали на то, что здесь стоит монастырь.

Действительно, то был странный мужской монастырь, точно погруженный в зимнюю спячку в этой унылой и безотрадной местности, и ни звон колоколов, ни молитвенное пение не нарушали его оцепенения накануне величайшего праздника церкви, накануне Рождества.

Странный монастырь! Уже более сорока лет в нем не звонили колокола, не пели псалмов и, словно впавший в летаргию, он молчал среди сонного безмолвия болот. Такова была воля его настоятеля, неведомого старца с совершенно белой бородой, уже стоявшего на пороге смерти.

Смутное предание говорило, будто в былые дни, еще при жизни прежнего настоятеля, в монастырь этот, тогда звучавший колоколами и песнопениями, явился изгнанник, незнакомец, похожий на разбойника, и попросил пристанища. Его приняли, и он прошел великий искуc, поражая братию и послушников суровостью своих постов и жестокостью самобичеваний. На смертном одре покойный аббат назначил его своим заместителем, избрание монахов подтвердило это назначение. Но с тех пор на клиросе и на колокольне замолкли все голоса, псалмы и песнопения читались шепотом, и в течение сорока лет все колокола безмолствовали. Новый настоятель наложил обет молчания на всю общину, и без того строгие правила при нем стали вдвое строже, и в суровом соблюдении устава, постов, бдений, молитве и нищете, теперешний настоятель, — великий грешник, по словам одних, знатный вельможа, по словам других, — ждал смерти, зная, что она наступит, когда голос недвижных колоколов поплывет над полями, ибо в тот день, когда зазвонят колокола, для него засияет милосердие, и прошлое простится ему.

В эту ночь, под порхающим по монастырскому двору снегу, монахи один за другим вышли из келий и отправились в церковь для полуночной службы. Теперь эта служба совершалась вполголоса, без веселых песнопений и радостных возгласов. Настоятель явился последним; он был так дряхл, разбит, так подавлен горем, угрызениями совес-

ти и годами, что два монаха должны были поддерживать его; он шел с угасшими глазами, бледным изможденным лицом, и его можно было принять за труп, несомый братьями. Но едва они ступили все трое в алтарь, как раздался громкий и веселый звон: все колокола на колокольне пришли в движение и звонили, и сердца монахов преисполнились восторженным изумлением.

Все поспешно выбежали за ограду монастыря и рассыпались по берегу, чтоб увидеть, не ангел ли Господень спустился на башню; пораженный настоятель следовал за ними, опираясь на своих помощников и вытянув вперед дрожащие руки. Колокола звонили сами, но посреди реки, задержанная ставшим льдом, «Принцесса под стеклом» сияла сверхъестественным блеском. Вокруг нее тихо и медленно кружились хлопья снега, и под прозрачным хрустальным покровом виднелся ее лоб в венке из рождественских роз, но не искусственных, а живых, только что распутившихся.

Саван спал с ее нетленного тела и, с улыбкой на устах и закрытыми нежными веками она спала, держа в прекрасных беломраморных руках, тех самых руках, что некогда отъели собаки, огромный букет красных роз, алеющих кровью ее ран.

Настоятель упал на колени. Он понял, что Бертрада умерла, простив его, и что он тоже должен умереть.

К нему, своему жестокому палачу, к нелюдимому Отто, зловещему Черному принцу, бывшему Красному принцу, а ныне кающемуся монаху, она явилась в знак прощения и принесла яркие алые цветы, символические розы, расцветшие из ее ран, цветы ее крови.

Он хотел притянуть барку к берегу, но лед ломался под ногами братьев, багры падали в воду, и невозможно было добраться до барки. Всю ночь принц Отто провел в молитве, на коленях, на замерзшем берегу, под падающим снегом. Зажгли большие костры, монахи, собравшись вокруг него, пели по очереди Осанну и Мизерере; а в монастыре по-прежнему звонили ликующие колокола.



При первых лучах зари лед растаял, и чудесная барка поплыла вниз по сонной реке, потом исчезла на повороте русла.

НЕЙГИЛЬДА

Нейгильда порой отправляется в путь
На саночках в инее белом,
Несется под небом сквозь легкую муть
К далеким краям онемелым.

Как светлая точка мелькает она
Над тучей, быстрее урагана.
Над стаями туч перелетных видна
Нейгильда в санях из тумана,

Сидит на снегу, на опушке лесной
И воет с волками волчиха;
А вороны в свите ее ледяной
Мороз накликают и лихо.

Во время пурги ледяные персты
Срывают валетом снаружи,
Подобные звездам, седые цветы,
Покрывшие стекла от стужи.

В мансарде дитя, оробевши, дрожит
Под жалким своим одеяльцем.
Мерещится крошке: Нейгильда глядит,
Глядит и грозит ему пальцем.

Она за морями, в далекой стране,
В Норвегии, где нерушимы,
В дворце из снегов, на седой крутизне,
Тянутся грядущие зимы.

Маленький Петерс спал в замерзшем великолепии дворца Нейгильды, посреди залы пиршеств, заключенный в огромной прозрачной колонне. Он спал, свернувшись, нагнув на глаза меховую шапку и засунув руки в теплые рукавицы, совсем маленький, похожий на реликвию в стеклянном ковчеге. Вокруг него, в унылой феерии белизны и

розовых вспышек, царили сталактиты и айсберги пылающего северным сиянием дворца. За этой залой в бесконечность простирались другие, безотрадно белые, безотрадно обширные и пустынные. Полярный ветер носился по ним, как безумный, пушистый снег порхал, гонимый и наметаемый в углах порывами северного ветра.

Ветер охранял дворец. Притаившись у его входов, он леденящим, резким дыханием препятствовал снегу и морозу загромождать его двери, и тысячи ледяных игл, как громадные неподвижные ветки исполинского коралла, устремлялись во мрак, блистая всеми огнями и переливами радуги. Призрачный и великолепный дворец Нейгильды сверкал как призма среди безмолвия полярных ледяных затонов, нагроможденных Зимой.

Вечная зима, вечная безотрадность, вечный пожар пылающих северным сиянием ночей! Маленький Петерс жил среди этого безмолвия и пустыни, весь черный и окоченевший в жестком меховом платье, но нечувствительный к боли, сам превратившийся в льдинку с тех пор, как Нейгильда коснулась ледяной рукой его сердца, безразличный ко всему и точно зачарованный великолепием больших, блестящих и пустых зал и головокружительной высотой их сводов, полных мрака и звезд.

Сколько лет он живет здесь? Маленький Петерс уже не знал этого. Он потерял представление о времени, утратив память. Коснувшись его сердца, Нейгильда погасила в нем пламя жизни; он не помнил ни норвежского городка, где ребенком играл на большой площади, звенящей от хлопанья бичей и веселых криков, не помнил старого предместья с темными и такими узкими улицами, что соседи ходили друг к другу в гости по висячим досчатым мосткам, перекинутым из дома в дом. А в этом городке и в этом предместье, в пятом этаже старинного высокого дома, жила добрая бабушка с дрожащим голосом, которую маленький Петерс хорошо знал; добрая бабушка с седой головой, которая в длинные, серые зимние дни сидела за прялкой и рассказывала сказки двум маленьким детям, прижавшимся у

ее ног перед камином и уже любившим друг друга нежной любовью.

Маленький Петерс был одним из этих детей. Маленький Петерс долго жил в далеком и многолюдном городке Норвегии, звенящем от хлопанья бичей и веселых криков. Закутанный в меха вместе с другими так же закутанными мальчиками, катался он на коньках по большой площади, заставленной санями. Но Петерс забыл ее название и имя бабушки, и название улицы, и название городка, где снег падал хлопьями в течение шести месяцев из двенадцати, пестря пушистыми белыми мушками однообразно серое небо.

С каким интересом и любопытством смотрел он на хороводы белого роя крупных снежинок, прижавшись носом к стеклам маленького окошка в комнате доброй бабушки, маленького окошка, в июне цветущего душистым горошком и настурциями, а зимой разрисованного инеем!.. В сказках старой бабушки эти снежные хлопья назывались белыми пчелками, и говорилось, что у этих пчелок тоже есть царица, как и у золотых летних пчел, но их царица — ледяная, с примерзшими к плечам в виде крыльев лунными лучами и в длинной мантии из инея, подбитой туманным снегом. Улей ее находился за полюсами; это — унылый и пустынный дворец, построенный из ледяных глыб, огромный призрачный дворец с высокими, роскошными, белыми и пустынными залами, сверкающий прозрачными куполами, вечно горящими пожаром северных сияний.

Царицу эту звали Нейгильда, и маленький Петерс любил и боялся ее. Да, маленький Петерс любил и вместе с тем очень боялся этой окаменелой и точно спящей царицы зимних пчел, этой властительницы белых полярных пространств, потому что разбитый голос бабушки изображал ее беспокойной кочевницей, и в декабрьские ночи можно было, взглянув на небо, увидеть сани этой царицы.

Какой сладкой тревогой, каким ужасом наполняла душу маленького Петерса эта царица снегов со своей стаей старых волков, сидящих на берегу фиорда и воем накликавших смерть.

Теперь он был ее пленником. Своей любовью он притянул мертвый взгляд царицы, и Нейгильда пожелала овладеть маленькой душой Петерса и сохранить ее для себя одной. Прижавшись к царственной груди и запрятавшись в ее леденящий иней, Петерс испытал ужасы и страхи заоблачных странствий над городами, проливами и морями. Длинные вереницы аистов испуганно метались в сторону, увидев его; стаи ведьм с криками разлетались перед ним в грозовые тучи, а матросы на судах крестились, завидев сквозь снасти полозья уносивших его саней.

Он видел, как под ногами его проносились колокольни соборов, драконы дозорных башен и исполинские вызолоченные архангелы, трубящие в трубы на вершине колоколен, крепости на горах, монастыри в долинах, реки под мостами и другие реки в полях. И все время большие белые пчелы кружились вокруг них в высоком бледном небе. Огромные вороны носились взад и вперед, распластав крылья, а перед саями беззвучно летели две белых курицы. Маленький Петерс прочитал «Отче наш», но Нейгильда поцеловала его в лоб, и маленький Петерс позабыл свои молитвы, щемящий холод охватил его, и от боли он хотел позвать Герду, маленькую девочку из старого дома в предместье, которая вместе с ним слушала перед тлеющим камином бабушкины сказки; но Нейгильда коснулась рукой сердца маленького Петерса, и Петерс забыл имя Герды, имя бабушки, название города и даже собственное имя, но ему уже не было холодно. Сладкая истома охватила его тело. Луна точно выросла, стала круглее и пылала среди перламутровых облаков, а бесконечно длинная мантия Нейгильды развевалась, покрывая плотную стаю огромных ночных птиц. И маленький Петерс заснул, словно погрузившись в мягкую и теплую перину.

И больше не просыпался.

Но вот в залу вошла Герда. Герда была та маленькая девочка, что в длинные летние вечера сидела с Петерсом на краю крыши высокого дома, на деревянной скамеечке, сделанной для них и для них поставленной между двумя

окнами, и смотрела на летающих ласточек и кружащиеся на ветру лепестки жимолости.

Съездившись у ног бабушки, она много раз слышала сказку о Нейгильде и, как и Петерс, верила в существование белых пчел и морозное волшебство дворца Нейгильды, стоявшего за полюсами, в стране Зимы. Она любила Петерса нежной любовью, и, когда он исчез, отправилась искать его, покинув город, старый дом в предместье и добрую бабушку в мансарде.

Она отправилась в путь, распевая псалом, с преисполненным верой храбрым сердечком и, чтобы найти своего маленького пропавшего друга, спрашивала реку и камыши, поля и цветы; бесконечно долгие часы и дни, месяцы и годы шла она по безбрежному, унылому и однообразному миру, никогда не уставая, так как была еще в том возрасте, когда надежда крепка в человеческом сердце.

И природа и унылый мир сжалились над бедным ребенком... Чтобы отвезти ее в страну фей, барка сама отвязалась от берега, старые скрюченные ракиты внезапно выпрямлялись и пропускали ее, волшебные лягушки приветствовали ее на пути, а на одном острове, слывшем опасным, какая-то очень ласковая, но немножко страшная старушка в огромной шляпе из желтых роз, должно быть, колдунья, приютила ее у себя. Герда обезоружила даже фей. Под золотым гребнем, который сдерживал ее волосы и должен был усыпить ее память, она сохранила воспоминание; цветы, изгнанные вглубь земли, вырастали под каплями ее слез, барвинки говорили, и Герда узнала от их венчиков, заменяющих цветам уста, где скрывается маленький Петерс. И Герда продолжала свой путь по унылому и однообразному миру.

Старый ворон был ее проводником. Он научил Герду, как понравиться королевскому сыну, но в то же время она приобрела и расположение принцессы и спаслась от опасной чести быть царской фавориткой. Внушенные ею сны помогли ее бегству, и с наступлением ночи она скрылась из дворца; но ее ждали другие опасности и другие приключения. В лесу ее схватили разбойники и увели в свою

пещеру; она уж дрожала под ножом жены людоеда, но чудесным образом ее спасла дочь разбойника, безобразная дикарка, плененная ее прелестными голубыми глазами и белой кожей. Герда вновь очутилась на свободе, и олень привез ее к плоской равнине тундр на границе царства Нейгильды.

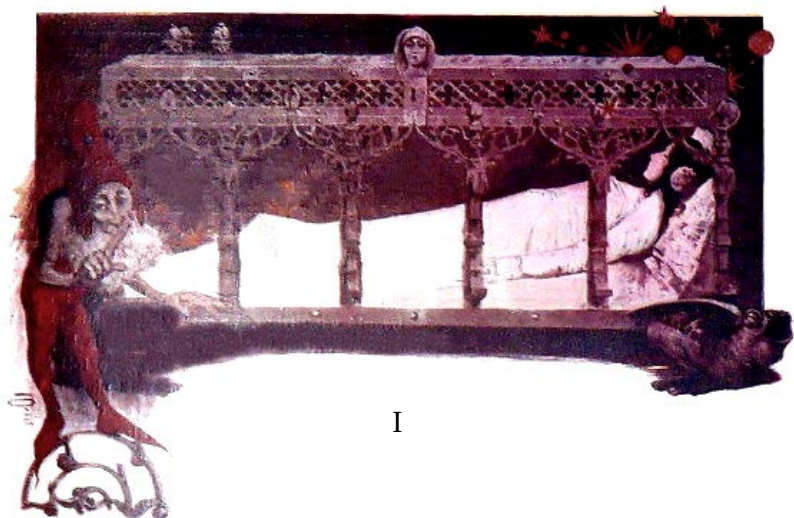
Она бродила здесь уже много месяцев под низким небом и сердитым ветром, пересылаемая из юрты в юрту; лопарские колдуньи отправляли ее к финским знахаркам; потом верный олень принужден был покинуть ее, так же, как раньше покинул старый ворон, и совсем одна, дрожа в своем красном суконном платье и большой лебяжьей шапке, она храбро вступила во владения Нейгильды. Царица была тогда в отъезде, призванная по случаю мороза в Сицилию, где опасность угрожала миндальным деревьям. Не обращая внимания на стоящих на страже ветров, их ледяные лица и резкое дыхание, Герда вошла во дворец.

В двадцать первой зале она нашла Петерса, спящего внутри ледяной колонны, и, опустившись на колени под крутящимся вихрем снегом, тихонько запела псалом, который оба они некогда пели в мансарде с маленькими разрисованными инеем окошками, в старом доме предместья.

Колонна треснула сверху донизу, спящий маленький Петерс выпал из трещины и скользнул к ногам Герды, которая обвила его шею руками.

И под ее горячими слезами льдинка, сковавшая сердце маленького Петерса, растаяла, Петерс проснулся, память вернулась к нему, он узнал Герду, прочитал «Отче наш», вспомнил имя доброй бабушки и название родного городка и улицы и, схватив за руку свою маленькую приятельницу, поспешно выбежал из дворца Нейгильды. Вдвоем они пробежали ледяные поля, тундры и пришли на родную равнину, уже зеленеющую мартовскими озимями, уже цветущую апрельскими барвинками, и повсюду на их пути в деревнях колокола звонко пели смиренную божественную песнь, что пела Герда... божественную песнь, ту песнь, что пела Герда...

ПРИНЦЕССА БЕЛОСНЕЖКА



I

Когда королева Имогена узнала, что принцесса Белоснежка не умерла, что шелковый шнурок, которым она сама стянула ее шею, задушил ее только наполовину, и что лесные гномы унесли нежное неподвижное тело в стеклянном гробу и скрывают его от всех в волшебном гроте, она пришла в страшную ярость. Выпрямившись в кресле из кедрового дерева, на котором она сидела задумавшись, в самом высоком покое своей башни, она разорвала сверху до низу свою тяжелую мантию из желтой парчи, расшитую жемчужными лилиями и листьями, сломала, бросив оземь, стальное зеркало, поведавшее ей эту дурную весть, и, гневно схватив за заднюю лапу колдовскую жабу, служившую ей для заклинаний, с размаху бросила ее в огонь очага, где она зашипела и свернулась, как сухой лист.

После этого, несколько успокоившись, она раскрыла створки высокого окна, свинцовая сетка которого опутывала трубящих в рога карликов, и выглянула из окна. Кругом

все побелело от снега, и в холодном ночном воздухе ленивые редкие хлопья, пушистые, как вата, затянули весь горизонт причудливой горностаевой пеленой с белыми муш-



ками на черном фоне. Яркое зарево освещало снег у подножия башни, и королева знала, что это —отблеск огня из придворных кухонь, где повара готовились к вечернему пиру, потому что дело было в день Богоявления Господня, когда во дворце всегда устраивалось большое торжество. И злая королева Имогена невольно улыбнулась в глубине своей черной души, вспомнив, что в эту минуту для короля жарится чудесный павлин, из которого она предательски вынула печень, заменив ее смесью из яиц ящерицы с беленой, ужасным снадобьем, которое должно было навеки помрачить разум старого монарха и навсегда изгнать из его слабеющей памяти прелестный образ принцессы Белоснежки.

Но, и то сказать, как смела эта хрупкая и слащавая Белоснежка с большими голубыми фарфоровыми глазами и глупым кукольным лицом, как смела она быть красивее ее, дивной Имогены с Золотых островов? Нужно же было ей приехать в это дрянное Аквитанское королевство, чтобы днем и ночью ветер в изгородях, розы в цветниках и даже ее зеркало, вещее зеркало, которое феи наделили даром провидения и речи, кричали ей: «Твоя красота божественна и пленяет птиц и людей, могущественная королева Имогена, но принцесса Белоснежка красивее тебя!» Негодница! Королева не знала ни минуты покоя, и не было гнусности, в которой она, как настоящая мачеха, не обвиняла бы маленькую принцессу,

чтобы погубить ее в глазах короля. Но старый дурак, ослепленный любовью, слушал только одним ухом, несмотря на любовную страсть, которой пылал к своей красавице-королеве, злой волшебнице. Даже яды не оказывали никакого действия на это хрупкое детское тело: невинность или добрые феи оберегали принцессу. Королева с яростью вспоминала тот день, когда она приказала своим женщинам раздеть маленькую принцессу и до крови бичевать ее дрожащие плечики; она хотела, чтобы под ударами розог померкла, наконец, ее ослепительная, чарующая нагота, но розги в руках мегер превратились в павлиньи перья, ласкавшие нежную кожу испуганной девушки.

Тогда, вне себя от злобы, она решила убить ее. Своими собственными королевскими руками она задушила ее и велела перенести ее тело ночью на окраину парка, чтобы обвинить потом в убийстве какую-нибудь бродячую толпу цыган. Неожиданное счастье! Ей даже не пришлось преподносить этой прекрасной выдумки королю: волки сослужили ей службу; принцесса Белоснежка исчезла, и гордая мачеха торжествовала, как вдруг спрошенное магическое зеркало снова повергло ее в горе. Она, правда, отомстила ему, сломав его в ту же минуту, но это мало помогло ей, потому что ее соперница была жива и спала под охраной карликов!

В замешательстве она достала из шкапа высушенную голову повешенного, с которой совещалась в трудные минуты, и, положив ее на большую книгу, раскрытую на столике с наклонной крышкой, зажгла три свечи из зеленого воска и погрузилась в мрачные мысли.





II

Она шла далеко, очень далеко от спящего дворца, среди мертвого безмолвия скованного морозом леса, похожего на огромный коралл. Поверх белого шелкового платья она



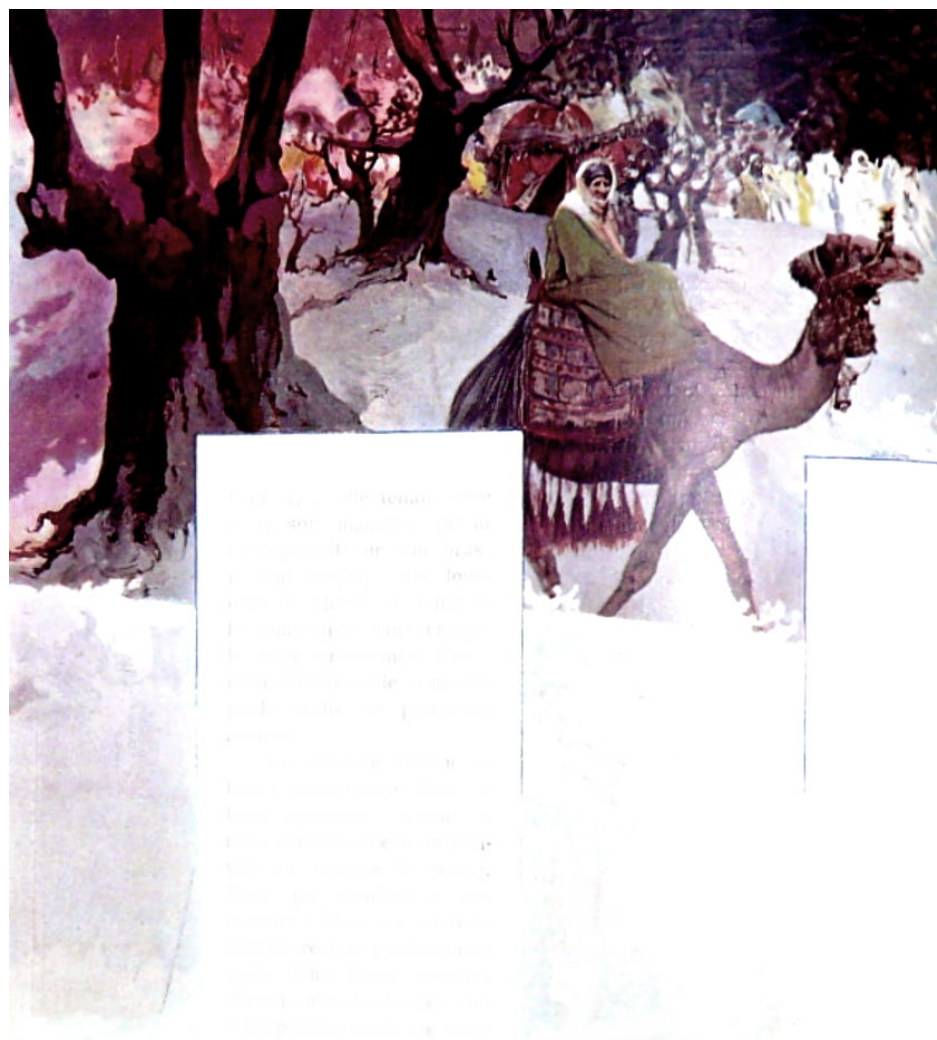
накинула коричневый шерстяной плащ, в котором напоминала старого колдуна, и, спрятав гордый профиль под темным капюшоном, быстро шла под огромными дубами, белые от снега стволы которых казались фигурами высоких кающихся монахов. Одни, протянув во мраке длинные ветви, казалось, проклинали ее всей силой длинных бесплотных рук; другие, рухнув в причудливых положениях, точно преклоняли колени на краю дороги. И процессия этих призрачных монахов в рясах из инее молилась, простирая сложенные и неподвижные руки над снегом, заглушавшим шум шагов. В лесу было почти тепло, мороз погрузил его в сонное оцепенение, и королева, поглощенная своим замыслом, ускоряла беззвучный путь, крепко стягивая полы плаща над каким-то слабо стонущим и шевелившимся предметом.

Она несла шестимесячного ребенка, которого похитила мимоходом у одной из своих служанок, и ровно в полночь должна была зарезать его на перекрестке, как предписывала ей волшебная книга. Эльфы, враги гномов, прибегут напиться теплой крови, и она очарует их хрустальной флейтой с тремя клапанами, этой верной пособницей магических за-

клинаний. Очарованные эльфы послушно проведут ее через чащу леса к гроту карликов. Вход в него открыт в святую ночь Богоявления и в рождественскую ночь. В эти две ночи, велением и всемогущей милостью Господа, всякие чары становятся бессильны, и все пещеры и подземные тайники гномов, стерегущих зарытые сокровища, доступны смертным. Она войдет в пещеру, разогнав своим изумрудом испуганную стаю кобольдов, приблизится к стеклянному гробу, сломает замок, разобьет, если понадобится, стенки и поразит в сердце спящую соперницу. На этот раз ей не спастись от нее.

В то время как, обдумывая свою месть, она ускоряла шаги, под тонкими кораллами и причудливым убором одетого инеем леса вдруг послышались голоса, певшие псалмы, хрустальный звон заколебал оцепеневшие ветки, весь лес запел, как арфа, и королева, замерев от изумления, увидела странную процессию.

Под облачным зимним небом, по сверкающей снежной поляне шли дромадеры и породистые стройные кони, потом потянулись балдахины из пестрого блестящего шелка, знамена с полумесяцами, золотые шары на длинных копьях, носилки и тюрбаны. Чернокожие ребяташки, похожие на чертенят, в зеленых шелковых курточках, робко ковыляли по снегу, браслеты со сверкающими камнями звенели на их щиколотках, и, если бы не обнаженная улыбкой белая эмаль зубов, их можно было бы принять за маленькие статуи из черного мрамора. Они шли за величественными патриархами в мягких мантиях с золотыми полосами; важность их надменных лиц усугублялась шелковистой пеной длинных белых бород, и широчайшие шелковые бурнусы, такие же серебристо-белые, как и их бороды, раскрывались, обнаруживая тяжелые одежды, синие, как ночь, или розовые, как заря, все расшитые золотыми арабесками и самоцветными камнями. Балдахины, в которых, как во сне, виднелись смутные, закутанные женские фигуры, покачивались на спинах дромадеров, и поднявшаяся луна отражалась в блестящем шелке знамен. Терпкий и острый аромат бензоя, нарда и корицы струился тон-



There is a "one woman" story
in the 800's that tells of a
woman who was the first
to ride a camel. It is said
that she was the first to
ride a camel and that she
was the first to ride a camel
in the world. It is said that
she was the first to ride a camel
in the world.

The woman who was the first
to ride a camel was a woman
from the city of Damascus.
She was the first to ride a camel
in the world. It is said that
she was the first to ride a camel
in the world. It is said that
she was the first to ride a camel
in the world.

кими голубоватыми спиралями, выпуклые эмалевые чаши блестели в черных пальцах, заменяя курильницы, и под плывущей в небе луной звучало пение псалмов, скорее похожее на журчание нежных слов восточного языка и точно окутанное газом покрывал и дымом курильниц.

Королева, стоявшая за стволом дерева, узнала трех волхвов: негритянского короля Гаспара, юного шейха Мельхиора и старого Валтасара. Они шли, как две тысячи лет назад, поклониться божественному Младенцу.



Они уже прошли.

И королева, вся бледная под своим пастушеским плащом, вспомнила, но — увы! — слишком поздно, что в ночь Богоявления присутствие волхвов, идущих в Вифлеем, на-

рушает могущество чар, и никакое волшебство невозможно в ночном воздухе, еще напоенном благоуханием мирры, возносящимся из курильниц.

Напрасно было ее путешествие. Напрасно прошла она многие мили по замороженному лесу; снова приходилось совершать опасный путь сквозь глубокий снег в морозную ночь. Она хотела повернуть назад, но ребенок, которого она держала под плащом, странно давил ее руку; он стал тяжел, как свинец, он сковывал ее неподвижностью, и снег нагромождался вокруг нее высокими сугробами, из которых окоченевшие ноги ее не могли высвободиться.

Ужасные чары сковали ее в этом призрачном лесу: ее ждала неминуемая смерть, если она не сумеет порвать их. Но кто придет ей на помощь? Все злые духи благоразумно прячутся в своих убежищах в лучезарную ночь Богоявления; одни только добрые духи, друзья смиренных и страждущих, решаются выходить наружу. И коварная королева Имогена решила призвать на помощь гномов, добрых маленьких карликов в зеленых камзолах и шапочках из барвинка, подобравших Белоснежку. Зная, что они страстно любят музыку, она вынула из-под плаща хрустальную флейту и поднесла ее к губам.

Она шаталась под тяжестью ребенка, превратившегося словно в ледяную глыбу; стиснутые в снегу ноги ее посинели, почти почернели, но лиловые губы еще смогли вызывать грустные и нежные звуки, горестные и страстные, как прощание умирающей души. В смутной надежде она прибегла к последней бесплодной попытке.

И в то время, как вся ложь ее жизни жалобно плакала на ее устах, глаза ее жадно впивались в сумрак поляны, в тень деревьев, в извилистые борозды корней и даже в пни, оставленные дровосеками, — в таинственных очертаниях растений гномы появляются раньше всего.

Вдруг королева вздрогнула. Со всех мест поляны на нее смотрели бесчисленные блестящие глаза; точно кольцо желтых звезд охватило ее. Они светились между деревьями, в корнях дубов, вдали и совсем вблизи, и каждая пара глаз

горела фосфорическим светом невысоко от земли, озаряя своим мерцанием ночь.

Это были гномы... Наконец-то! Королева подавила крик радости, тотчас же скованный ужасом: она заметила два острых уха над каждой парой глаз, а под ними виднелась мохнатая морда и оскаленные белые зубы.

Магическая флейта призвала только волков.

На следующий день нашли растерзанное зверями тело. Так в светлую зимнюю ночь умерла злая королева Имогена.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Реми де Гурмон

ЖАН ЛОРРЕН

Уже много веков человечество роет рвы только для того, чтобы иметь возможность через них перепрыгнуть. Благодаря изобретению христианской идеи греха, эта игра приобрела возвышенный характер. Как приятно читать старинных испанских казуистов или такое произведение итальянского кардинала, как *Confessarius Monialum*, произведение, полное оригинальных тем, очаровательных идей толерантного Ламы и галантного Карамуэля! Прелестный Карамуэль, как много прекрасных и благотворных бесед мог бы ты вести с Жаном Лорреном в его салоне на улице d'Auteuil, где красуется отрубленная голова, окровавленная и зеленая! На твоих коленях была бы раскрыта «*Théologie des Réguliers*», и на спорной странице вместо закладки лежала бы кисточка твоей иерейской квадратной шапки. Против тебя сидел бы Лоррен и читал бы тебе одну из своих проповедей, которые он обдумывал для своей «*Oratoire*»¹.

Необходимо, чтобы одновременно существовали вещи запретные и вещи дозволенные — иначе нерешительные и ленивые умы остановились бы у первой ограды, успокоились бы на первом попавшемся газоне. Быть может, именно социальная мораль создала преступление, а мораль сексуальная — наслаждение. Какой добродетелью должен отличаться паша среди трехсот женщин! Мне всегда казалось, что гибель Содомы явилась результатом сознательного поджога, некоторым самоубийством. Человечеству надоело это созерцание неукротимого роста чувственных желаний и извращенного сладострастия.

Но вместо того, чтобы пользоваться ими в сыром виде, Жан Лоррен prepares из них всевозможные напитки,

¹ Имеется в виду кн. Лоррена *Dans l'Oratoire* («В часовне», 1888) (Здесь и далее прим. ред.).

желе, кремы и конфеты. Он приправляет их неведомым имбирем, не употреблявшимся до него шафраном, таинственной гвоздикой, превращающей любовные сласти в игровой и крепкий эликсир. Из этой лаборатории вышел небольшой томик, который я считаю настоящим шедевром. Я упоминал о нем выше. Никогда еще искусство не заходило так далеко в точной пропорции сахара и пряностей, розового варенья и красного перца. «Бонбоньерка пряных драже» отличается большей откровенностью и меньшей невинностью. Она точно вынута из кармана нечестивого аббата, готового пить вино причастия из туфли своей любовницы. Это книга яда и улыбок. Это молитвенник греха, где каждый порок составляет отдельную рубрику и имеет свой особый антифон. Его поучения взяты из лесбосского Синаксария.

Дом молитвы полон благоухающей серой амбры. Женщины с закрытыми глазами слушают голос аббата Блампуа, аббата Октава, голос монаха Генициуса, священника Рене. Им не сидится на своих местах. Некоторые из них внезапно падают на колени. Другие, точно большие цветы, полные слез, откидываются на спинки. Пальцы их судорожно сжимаются. Слышится шелест шелка и звон браслетов. Аббат de Joie восходит на кафедру. Ему внимают, нервно стиснув руки на груди, внимают с волнением, с наслаждением, потому что под личиной Христа аббат проповедует культ Адониса. Его двусмысленные проповеди превращают поклонников Христа в любовниц...

Сам Лоррен часто проповедует Адониса. Чем, кроме Адониса, можно удержать женщин? Как, в самом деле, наблюдать за ними, если они убегут? В одной из своих книг, носящей дерзкое заглавие: «Une femme par jour»¹ и в другой, с нежным названием «Ames d'automne»², он изобразил всю сложность женской натуры, наивность и бессознательность маленьких женских душ, их страдание, жестокость, безумие и прелесть. В «Oratoire» и других его сочи-

¹ «Одна женщина в день».

² «Осенние души».

нениях перед нами женщины, которые открылись ему с редкой искренностью, как на духу.

В некоторых главах «Oratoire» — я всегда с любовью возвращаюсь к этой книге — много жестокого, много несправедливого. Но вместе с тем, каким очарованием веет от этого первого цветка, уже отравленного внутри, от этого создания оранжерейного ума, побега редкого растения, носящего имя Жан Лоррен.

С тех пор прошло десять лет. Многочисленные произведения этого автора полны оригинального благоухания. Он расточал его щедро, но не расточил окончательно. Растение сохранило достаточно соков, чтобы дать не один новый цветущий побег. Появились поэмы, сказки, небольшие очерки, в которых с большей или меньшей примесью меда мы находим всю чувственную остроту, все дерзновение слегка садического, единственного ученика Барбе д'Оревильи. Сам воплощение искусства, он любил его горячо, как стихию, его создавшую, и надолго не расставался с ним никогда. Иногда, впрочем, его влекло к мародерству, к экскурсиям в подозрительные закоулки Парижа, в сферы великосветского разложения, в мир «*de l'obole, de la natte et de la cuvette*»¹ (разлив такого рода опустошительных страстей в литературе отмечал уже греческий ритор Деметрий Фалерский). Чаще других и с большим талантом, чем дон Ренеус, он проповедовал культ Св. Мукезы и воспевал (вполголоса) то, что сам скромно называл «причудливой любовью». Но все это он представил прекрасным, благородным словом, не искаженным фамильярностями тайного члена ордена ораторьянцев. Некоторые его книги похожи на ярко-светлых блондинок, которые не могут поднять рук, чтобы не распространить вокруг себя атмосферы, вредной для добродетели. Но наряду с ними у него есть и такие, которые должны быть отнесены к настоящей литературе и чистому искусству. Любовь к красоте вознесла его над любовью к разврату. Лоррена не следует считать писателем исключительно чувственным, интересующимся вопросами

¹ «Грошей, подстилки и уборной» (фр.).

специальной психологии. Его ум разнообразен. Его занимает все, и он с одинаковым интересом сочиняет живописную сказку и трагическую историю. Он любит все фантастичное, таинственное, оккультное, страшное. Рисует ли он Париж прошлого или Париж наших дней, никогда он не бывает банален. Наоборот, его картины настолько своеобразны, что невольно вызывают изумление: в них есть что-то неожиданное, даже слегка раздражающее своей экстравагантностью. Лоррен редкий рассказчик — даже в тех случаях, когда является перед нами только хроникером. От самых беглых его набросков всегда ждешь исключительного впечатления. В жизни так же, как и в искусстве, он любит новизну. Никогда он не боится высказывать свои литературные вкусы, самые дерзновенные, самые соблазнительные с точки зрения невежд, завидующих всему оригинальному.

Кроме всех особенностей, которые делают Лоррена одним из наиболее выдающихся современных писателей, он обладает еще одним даром — даром поэта. Он в совершенстве умеет воспроизводить в стихах пейзажи. Его фигуры похожи на статуэтки. Вот, например, образ танцовщика Вафилла, который остается в памяти навсегда.

Остановился он и взглядом бессердечным
Матросов обводил, желанье их почуя;
Букет свой раздает, потом для поцелуя
Ладони протянул движением беспечным.

С какой мечтательной и тонкой чувственностью рисует автор своих «Героинь». Каждая из них имеет свой символ в цветке, вырастающем у ее ног. Это очень красиво.

У ног Энильды:

с сердечком золотым белела маргаритка.

У ног Эллены:

зацвел вдруг анемон, так холоден и бледен.

У ног Вивианы:

вдруг вышла лилия под пальцем нежно-алым.

У ног Мелузины:

и около нее, как светлые трофеи,
Возникли шпажника, как лезвие, листы.

У ног Изольды:

как солнце, пламени подсолнечник желтел,
Пылал и расцветал.

Сколько образов, полных грации, полных чувственности, в этих расписных стеклах -- голубых, сине-зеленых, кое-где оживленных золотом лютика, пурпуром мака! Сколько женских образов, видимых сквозь мечту, вызывающих трепет! Сколько мертвых!

Офелиями все вы были:
Без рулевого, без челна.
Вас понесет сама волна,
Когда Гамлеты вас забыли.

Вот прекрасная живописная деталь из гобелена под названием «Феи».

Туманная луна на берег свет бросает,
От колоколен тень, от кровель вырастает
Крылатых ангелов и исполинов хор.
А башен, кровель, стен причудливый узор
Теньями стелется в необозримом поле.
Но город далеко, за двести верст и боле.
Безлюдны берега и пуст морской простор.
Из серой глубины небес, что нежно тают,
Виденье города встает: дворцы, собор,
Злаченных башенок затейливый убор
И лестницы наверх, что в небе исчезают.
Их тень на отмели обманывает взор;

Моргана ж, опершись в туманности небесной,
Качает в воздухе над морем град чудесный.

В стихах Лоррена много фей. Все феи увенчаны вербеной или «голубым ирисом». Они мелькают, томные и влюбленные между строф этой лунной поэзии.

Где истинный Лоррен? В «Феях», в «*Ames d'automne*». Оба истинны — одного не следует отделять от другого.

Примечания



Книга Ж. Лоррена *Princesses d'Ivoire et d'Ivresse* впервые вышла отдельным изданием в парижском издательстве П. Оллендорфа в 1902 г. Многочисленные тексты из нее ранее публиковались в периодике.

Русский перевод К. Жихаревой публикуется по первоизданию: Лоррен Ж. *Принцессы ласк и упоения*. М.: К-во «Сфинкс», 1911 (издательством «Сфинкс» книга была выпущена как четвертый том задуманного, но не осуществленного полного собрания сочинений Лоррена). В тексте исправлены некоторые устаревшие особенности орфографии и пунктуации, а также ряд мелких неточностей перевода.

Статья Р. де Гурмона (из «Книги масок») публикуется по первому русскому изданию: Гурмон Р. *Книга масок*. Пер. с франц. Е. М. Блиновой, М. А. Кузмина. СПб.: Грядущий день, 1913 с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации; также исправлено написание некоторых имен.

В оформлении обложки использована картина Г. Моро «Ночь». На фронтисписе – иллюстрация А. Кахара (Cahard) к «Принцессе под стеклом».

Иллюстрации к «Бесполезной добродетели» (с. 128-137) принадлежат Ж. Конраду. Иллюстрация на с. 144 – Д. Челлини.

Иллюстрации к «Пленной Мандозиане» (с. 147-148) выполнены А. Даге.

Иллюстрации к «Принцессе под стеклом» принадлежат Л. де Бове.

Все прочие иллюстрации в книге выполнены М. Орази.

Практически все приведенные в книге иллюстрации взяты из первых публикаций соответствующих текстов в журнале *La Revue illustrée*.

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сказки	8
--------	---

ПРИНЦЕССЫ УПОЕНИЯ И ГРЕЗ

Принцесса с красными лилиями	15
Принцесса-босоножка	23
Принцесса на шаше	29
Дочери старого герцога	40
Принцесса зеркал	51

ПРИНЦЫ УЛЫБКИ И ЛАСК

Наркисс	60
Илад	76
Умирающий день	81
Легенда о трех принцессах	87
Сказка о цыгане	93

ПРИНЦЕССЫ ЗНОЯ И СОЛНЦА

Принцесса Оттилия	100
Златокудрая Гримальдина	110

Маркиза Сполеты	115
ГОВЕЛЕНЫ	113
Бесполезная добродетель	129
Очарованная Мелузина	138
Пленная Мандозиана	146
Побежденная Ориана	150
Принц в лесу. Хранительница	157
Принц в лесу. <i>Nic felicitas</i>	162
Сказка косцов	168
СКАЗКИ И НЕЯ И СНА	
Принцесса под стеклом	173
Нейгильда	191
Принцесса Белоснежка	197
ПРИЛОЖЕНИЕ	
<i>P. de Гурмон. Жан Лоррен</i>	208
П р и м е ч а н и я	214

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.